



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
Серия «Из истории мировой культуры»

**А. С. МЫЛЬНИКОВ**

## **ЛЕГЕНДА О РУССКОМ ПРИНЦЕ**

**(РУССКО-СЛАВЯНСКИЕ СВЯЗИ XVIII в.  
В МИРЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ)**

Ленинград  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
Ленинградское отделение  
1987

Книга д-ра ист. наук, проф. А. О. Мыльникова посвящена русско-славянским народным контактам — малоизученной теме, рассматриваемой на примере народной легенды о герое-избавителе, центральным персонажем которой в 60—70-х гг. XVIII в. стал Петр III. Легенда русского происхождения, отравившая социально-утопические настроения народных масс, быстро нашла распространение и за пределами России — в югославянских землях, Чехии, а отчасти и в немецкой среде (Гольштейн).

В монографии использованы новые архивные материалы, работы отечественных и зарубежных исследований.

Издание адресовано специалистам и всем интересующимся историей культуры.

Отв. редактор:  
академик Д. С. ЛИХАЧЕВ

Рецензенты:  
д-р филол. наук, проф. П. А. ДМИТРИЕВ  
и д-р ист. наук, проф. Р. Г. СКРЫННИКОВ

М  $\frac{0504030000-501}{054(02)-87}$  17 – 87 – Н П

© Издательство «Наука». 1987 г.

---

**OCR – Aspar, 2010.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<b>Встречи народов — связи культур (вместо предисловия)</b>	3
<b>С верой в свободу: 1762—1772</b>	19
Старт легенды	20
Эстафеты «чудесного спасения»	28
<b>Черногория: 1766—1773</b>	34
Человек из царства Московского	35
Черногорская легенда в горниле жизни	48
<b>«Третий император» — Е. И. Пугачев: 1773—1775</b>	62
В поход идти не желаем!	66
Явившийся из тайного места	74
<b>Чехия: 1775</b>	81
Загадки Градецкого письма	83
Тень Пугачева	99
<b>Легенда против легенды</b>	106
Пленник власти	106
Намерения, дела, иллюзии	122
Кто же самозванец?	141
... И иностранные государства небезызвестны	144
<b>Хранительница народного духа (вместо заключения)</b>	155
<b>Литература и источники</b>	168

## ВСТРЕЧИ НАРОДОВ — СВЯЗИ КУЛЬТУР (вместо предисловия)

Эту книгу мы хотели бы начать словами русского историка В. О. Ключевского: «Исторические факты — не одни происшествия; идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени — те же факты и очень важные, точно так же требующие критического изучения» [60, с. 360].

Известно, что культурные взаимосвязи русского и других славянских народов имеют многовековую традицию, истоками своими уходящую в далекое прошлое. Но именно в XVIII в., расширяясь, приобретая новое, более глубокое содержание, более многообразные формы, они становятся заметным фактором духовного развития родственных по происхождению и языку народов. И это закономерно, ибо «век Просвещения» в жизни не только славян, но и других народов Европы был переломным. В не столь отдаленной ретроспективе это ощущали уже ближайшие современники. «Конец средних веков и начало нового времени есть собственно 18 век», — писал 22 марта 1842 г. В. Г. Белинскому известный русский литератор В. П. Боткин [36, с. 244].

В XVIII столетии все славянские народы — одни чуть раньше, другие чуть позже вступают в эпоху перехода от феодализма к капитализму, переживают процесс становления наций и национальных культур. Большинство южных и западных славян, лишившись в предшествующие века государственной независимости, входило в состав многонациональных империй — Австрийской и Османской. Национальное угнетение, дополнявшееся угнетением социальным, неполноправное положение ряда славянских народов — все это ставило препятствия на пути их дальнейшего развития, диктуя зарождение и подъем массовых антифеодальных национально-освободительных движений. Недаром в истории чешского, словацкого, словенского, сербского, болгарского и других поработанных славянских народов период от середины XVIII в. до середины следующего столетия получил название «эпохи национального Возрождения».

В XVIII в. все более растущее значение приобретала Россия, которая в результате победоносного завершения Северной войны заняла прочное место в ряду ведущих мировых держав. В ее лице славянский мир видел своего естественного союзника в борьбе против иноземного владычества. Для южных православных славян дополнительным стимулирующим фактором в развитии русских связей явился конфессиональный фактор, на значимость которого со всей определенностью неоднократно обращал внимание Ф. Энгельс. До тех пор, подчеркивал он, пока христианские подданные Оттоманской Порты «остаются под игом турецкого владычества, они будут видеть в главе греко-православной церкви, в повелителе шестидесяти миллионов православных. . . *своего естественного освободителя и покровителя*» [1, с. 31—32].

Наряду с Россией заметную роль в общественно-политической и дипломатической жизни Европы играла и Польша — многонациональная Речь Посполитая, в состав которой на протяжении ряда лет XVIII в. входила часть белорусских и украинских земель. Видная роль России и Польши, подъем национально-культурного движения в остальных славянских землях способствовали общему повышению роли славянских народов, вызывали все более растущий общественный интерес к ним в кругах европейских просветителей. О них писали Монтескье, Вольтер, Руссо и Дидро, а немецкий просветитель Гердер предрекал славянам славное будущее.

Отличительной чертой той эпохи было расширение межславянских контактов — в области науки, книжного дела, народного образования, искусства, торговли. Эти контакты способствовали взаимному обогащению культур славянских народов, подготавливали прочную базу их будущего содружества в борьбе против угнетения, за социальный и духовный прогресс. И в этой связи возникает вопрос: что знали в XVIII в. друг о друге народные массы славянских стран и земель? Не только ученые, писатели, художники, музыканты и представители остальных сфер так называемой профессиональной культуры,

а именно народы, широкие массы «непривилегированного» населения — ремесленники и купечество, крестьяне и работные люди, городская и сельская интеллигенция? И как отразилось такое взаимное познание в народной, «низовой», культуре? Попытке рассмотреть один из аспектов этой важной, емкой темы, но до сих пор еще недостаточно разработанной, и посвящена эта книга.

Поставленные вопросы важны еще и потому, что как раз в XVIII в. в силу ряда причин впервые создались относительно благоприятные условия для личного, непосредственного знакомства между собой представителей демократических слоев разных славянских народов. С одной стороны, этому способствовало развитие внешне-торговых связей России. Петр I во время своих неоднократных поездок в европейские страны обратил внимание на языковую близость славянских народов и решил использовать ее для привлечения в Россию необходимых специалистов — мореходов, ремесленников, металлургов, ученых из зарубежных славянских земель. Уже тогда весьма тесные контакты установились, например, с Прагой и Далмацией. Осознание этнокультурной общности играло в них заметную роль. Постепенно развивались и коммерческие связи. В 1741 г. в Петербург впервые прибыл славянский торговый корабль — «Коронованный лев» из Боки Которской. Он доставил пряности, фрукты и другие местные товары, забрав с собой воск, железо и иные предметы российского экспорта. В общем балансе российского импорта XVIII в. некоторые товары, производившиеся в зарубежных славянских землях, занимали довольно устойчивые позиции [129, с. 202].

Существовала, верно, и иная, достаточно серьезная и прочная база для развития подобных контактов. Спасаясь от религиозно-политических преследований и культурно-языковой дискриминации со стороны правящих кругов католической Австрийской монархии и мусульманской Османской империи, с первых десятилетий XVI в. значительные группы сербов, черногорцев, болгар и других южных славян начинают переселяться в Россию. Процесс этот уже при Петре I принял достаточно широкий характер и вызвал появление 31 января 1715 г. специального указа о предоставлении в Киевской и Азовской губерниях земель для югославянских, а также молдавских и валашских военнотружущих, желавших поступить на русскую службу. При этом лицам семейным было обещано предоставить «для жития их земли и угоды» [96, с. 68].

Переломным стал 1752 г., когда правительство Елизаветы Петровны, по словам исследователя, определило основы военной организации южнославянских поселенцев в России. Из них намечалось составить два гусарских и два пехотных полка общей численностью 8 тыс. человек. Им предоставлялось право строить церкви и школы, что было особенно важно для новопоселенцев, чьи права в области культуры попирались у них на родине. Для размещения военнотружущих и их семей были выделены территории в округе Новомиргорода и Бахмута. Здесь соответственно образовывались военно-административные единицы: Ново-Сербия и Славяносербия [28, с. 129]. В эти годы и началось массовое переселение сербов и других южных славян — сперва из Воеводины и прилегающих областей Австрийской монархии, затем из Османской империи. В указанной грамоте 11 января 1752 г. подчеркивалось, что создаваемые полки будут входить в состав русской армии, а личный состав получит денежное жалованье и земли «в вечное и потомственное владение» каждому «по плепорции».

Реализация плана постоянно наталкивалась на сопротивление правительств Австрийской монархии и Оттоманской Порты. Это вынуждало русские власти заявлять официальные протесты, а в ряде случаев изыскивать различные способы скрытной проводки славянских новопоселенцев в Россию. Новая волна переселений приходится на вторую половину 60-х гг., после издания Екатериной II манифестов 1762—1763 гг., в которых иностранным колонистам гарантировались определенные льготы (здесь речь шла не столько о военнотружущих, сколько о ремесленниках и крестьянах, преимущественно из немецких земель). Но этими законами воспользовались и некоторые славянские

Выходцы. В частности, болгары, пожелавшие переселиться в Россию, чаще всего они направлялись в Херсонскую и Таврическую губернии.

В силу Конкретных международных событий конца 60-х — начала 70-х гг. в России появились поляки-конфедераты, участники так называемой Барской конфедерации, созданной польской шляхтой в 1768 г. в городе Бар (западнее Винницы, в то время входившей в состав Речи Посполитой). Эта конфедерация, как указано в «Большой советской энциклопедии» [34, стлб. 43—44], была направлена против польского короля Станислава Понятовского и союзной с ним России. Она «выступала за сохранение привилегий католической церкви и шляхетских вольностей, против реформы государственного устройства Польши и равноправия христиан-некатоликов с католиками». Раздираемая глубокими внутренними противоречиями, Барская конфедерация потерпела в августе 1772 г. окончательное поражение. Большая часть ее консервативных лидеров бежала в Германию и Францию, где занялась деятельностью, враждебной не только России, но и интересам своего народа. Рядовых же конфедератов, среди которых были и представители патриотически настроенных шляхетских кругов, и выходцы из белорусских и украинских земель, с 1769 г. направляли в глубинные районы России. Следует, впрочем, учитывать условность самого термина «поляки». И не только в отношении конфедератов. Нередко в официальных документах тех лет «поляками» называли и русских старообрядцев, переселявшихся из-под Стародубья (особенно после ликвидации раскольниковского центра в Ветке) в Сибирь, в том числе на Алтай. Там они проживали уже с 1764—1765 гг. [80, с. 199—200]. Что касается конфедератов, то их либо размещали на поселение (часть поляков-католиков приняла православие и решила навечно остаться в России), либо, ввиду нехватки военных кадров, определяли в русскую армию солдатами и офицерами. Позднее К. Хоецкий писал, что всего тогда в России насчитывалось 9800 поляков [121, с. 451]. По большей части они были сосредоточены в Казани (около 7 тыс. человек) и Оренбурге (около 1 тыс. человек). Некоторые контингент конфедератов содержались также в Тобольске, Таре, Тюмени, Иркутске и других сибирских городах. Получилось так, что основные места их расположения вскоре попали в силовое поле Крестьянской войны 1773—1775 гг.

Оказываясь в России, славянские новопоселенцы и отдельные выходцы из зарубежных славянских земель вливались, как правило, в жизнь страны. Одни (например, петровский флотоводец М. Змаевич, позднее контр-адмирал М. Войнович и генерал-майор И. М. Подгоричанин) зарекомендовали себя героическими подвигами во время русско-турецких и других военных кампаний XVIII в., другие (Ф. Янкович, И. Прач, Ю. Козловский и др.) внесли вклад в общественно-культурное развитие России.

Со своей стороны, в развитие межславянских культурных связей внесли вклад и русские люди, в разные годы оказывавшиеся в землях западных и южных славян. Уже при Петре I этот процесс приобрел активный двухсторонний характер.

Контакты эти имели определенную социальную обусловленность. И в самой России славянские новопоселенцы втягивались не только в духовную жизнь страны, с которой — одни на длительное время, иные навсегда — связывали собственную судьбу. Получая содержание «по плепорции», они переживали общие для российского общества процессы классового расслоения. При этом имущая славянская верхушка сближалась и находила общий язык с правящими кругами, а беднота включалась в борьбу против крепостнического угнетения, которую вели трудовые массы России. На рубеже XVIII—XIX вв. этот процесс заметно усилился. В подписанном Александром I 9 мая 1802 г. положении о правилах записи иностранных переселенцев в российское подданство содержались уточнения предшествовавших узаконений, начиная с манифеста Екатерины II 1763 г. Наряду с крестьянами в положении были специально выделены переселенцы, желающие вступить в мещанство, купечество или службу.

Социальная неоднородность, которой было отмечено российское и зарубежное славянское общество эпохи позднего феодализма, определяла характер и направленность

межславянских взаимосвязей, в том числе и в народной культуре, хотя изучение низовых культурных связей сопряжено с многими трудностями. Прежде всего — с необходимостью поисков источников народного происхождения. Это понятно: простые люди, зачастую неграмотные или полуграмотные, не имели ни времени, ни возможности да и непосредственных побудительных причин фиксировать на бумаге взаимные встречи. А устная память, если она не подкреплялась случайными записями фольклора, далеко не всегда оказывалась устойчивой. Потому-то о большей части подобных контактов мы узнаем косвенно — из разного рода официальных документов, составлявшихся властями, из прошений зарубежных славян, с которыми они обращались в правительственные инстанции, и т. п. Не говоря уже о разного рода искусственных поделках, создававшихся правящими кругами, желавшими говорить за народ и вместо народа. Во всех подобных случаях межславянские народные контакты сияли как бы отраженным светом, далеко не всегда различимым, а в иных случаях и искаженным, поддельным,

Как же найти ту равнодействующую, с помощью которой сейчас, спустя два века, постараться услышать голос самих славянских народов, узнать оценку ими взаимных культурных связей?

Думы и чаяния народа, его трудящейся массы лучше всего проступают в те моменты, когда социальная напряженность достигает максимального накала — «безъязыкая улица» обретает собственный голос, когда она не просто кричит и разговаривает, а мыслит и борется. «Только борьба, — подчеркивал В. И. Ленин, — воспитывает эксплуатируемый класс, только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его волю» [9, с. 314].

Это звездные часы народного духа, народной культуры. И в их ряду стояли массовые антифеодальные движения XVIII в., прежде всего Крестьянская война в России 1773—1775 гг. под руководством Е. И. Пугачева,

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые:  
Его призвали всеблагие,  
Как собеседника на пир.

Как знать, быть может потрясающие по глубине мысли и чувства тютчевские строки из «Цицерона» и об этом тоже?

В период, подготовивший пугачевский взрыв, и особенно в шквальные его годы, забитые, но не сломленные трудовые массы облекали борьбу за свои права и поправное достоинство в утопическую легенду о «хорошем», «народном» царе-избавителе. Здесь причудливо смешались разные черты народного, прежде всего крестьянского, мирозерцания, и его безграничная вера в неизбежность торжества социальной справедливости, и ограниченность, наивность и неразвитость его политического сознания. Как отмечал Ф. Энгельс, крестьяне в России многократно восставали против дворянства и отдельных чиновников, «но *против царя — никогда*, кроме тех случаев, когда во главе народа становился *самозванец* и требовал себе трона». И далее: «Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа, Петра III, будто бы не убитого женой, а только лишенного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал» [2, с. 547].

Первым, кто проявил серьезный и доброжелательный интерес к рассмотрению этого аспекта народной социально-утопической мысли, был А. С. Пушкин. Он подошел к нему и как писатель (в повести «Капитанская дочка»), и как ученый (в книге «История Пугачева»). И оба эти произведения были основаны на реальных исторических источниках, хотя, разумеется, по-разному использованных и осмысленных. «Я, — писал А. С. Пушкин, — посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь

поверяя их дряхлеющую память историческою критикою» [102, т. 9, ч. 1, с. 389]. Замечательные по основательности проникновения в суть дела слова!

И что интересно: народное самозванчество под именем Петра III заявило о себе не только в России. За несколько лет до появления Е. И. Пугачева именем русского царя управлял Черногорией умный и одаренный человек, которого называли Степан Малый. Примерно тогда же в маленьком немецком владении Гольштейн (русский император был здесь правящим герцогом) возникло пророчество о скором возвращении Петра III (этот любопытный документ в 1982 г. был выявлен нами в архиве Шлезвига). Па этом цепочка не прерывается. Едва Екатерина II успела расправиться с руководителями Крестьянской войны, как в Чешских землях началось широкое сельское восстание 1775 г. И как прямой отзвук только что отшумевших классовых бурь в России возникла легенда об участии на стороне чешских крестьян «русского принца». Какая поразительная взаимосвязь славянских народных культур обнаруживается за этими фактами!

Конечно, существовали различия в уровнях социально-экономического развития России и Чешских земель, входивших в Австрийскую монархию (господствовавшая в этих странах феодально-барщинная система вступала во все более усиливавшееся противоречие с наметившимся генезисом буржуазных отношений), а тем более находившейся под османским суверенитетом Черногории (здесь еще очень сильным было влияние патриархальных институтов). Но при всех этих различиях, порой весьма существенных, трудовое население находилось во многом в сходном положении. В массе своей это было крестьянство. Испытывая не только социальное, но — в Чешских землях и в Черногории — и иноземное угнетение, оно вело упорную борьбу за свои права. Одной из форм осмысления такой борьбы и явилась народная легенда об ожидаемом герое-избавителе. Примечательно, что во всех отмеченных случаях — в России, Черногории, Чехии, а так же в Гольштейне — происходило восприятие фольклорного сюжета русского происхождения: легенда персонифицировалась в образе покойного русского императора Петра III.



**Петр III. Портрет маслом. Приписывается, известному русскому художнику А. П. Антропову (1716—1795), начавшему в феврале 1782 г. работу над парадными портретами императора. Из собрания В. Б. Хвоцинского в Риме (до 1917 г.). В настоящее время местонахождение оригинала неизвестно.**

Это, на первый взгляд, может показаться странным, почти непостижимым на фоне устойчивой традиции мемуарной, научной и художественной литературы. В ней, за немногими исключениями, Петр III обычно рисуется ограниченным, невежественным и даже ничтожным человеком. Именно таким он был выведен в «Записках» Екатерины II, таким рисовали его многие очевидцы. «Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные склонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи», — писала Е. Р. Дашкова [44, с. 47], одна из

образованнейших женщин своего времени, директор Петербургской Академии наук и президент Российской Академии, собеседница Дени Дидро [43, с. 59]. А вот мнение известного русского агронома А. Т. Болотова, весной 1762 г. в качестве скромного армейского офицера состоявшего при императоре: он, Петр III, «возрос с нарочито уже испорченным нравом» [33, с. 164]. Но Дашкова и Болотов были людьми из лагеря Екатерины II, свергнувшей своего мужа. Они — его политические противники.

Хорошо известно, что воспоминания всегда субъективны. Особенно, когда к ним вольно или хотя бы невольно примешиваются личные, а особенно политические эмоции. В таких случаях предубежденность распространяется даже на внешнее описание лица, персонажа, героя. Вот, скажем, перед нами две характеристики.

1. Он «производил впечатление человека, который стесняется в обществе, считает долгом сказать что-либо умнее других и боится, что это ему не удастся. Он смотрит угрюмо, блуждающим взглядом; в нем нет уверенности в себе; он одет грязно и в его осанке нет благородства» [98, с. 368].

2. «Вид у него вполне военного человека. Он постоянно застегнут в мундир такого узкого и короткого покроя, который следует прусской моде еще в преувеличенном виде» [117, с. 194].

И все это об одном человеке — о Петре III? — спросит читатель. Нет, Петру III здесь посвящена только одна из записей. Какая же из них? С точки зрения распространенного стереотипа — скорее всего первая, да? Здесь, казалось бы, все отвечает расхожим представлениям о безвольном и неспособном монархе. И стесненность в поведении, и блуждающий взгляд, и неуверенность в себе, и неряшливость в одежде. Но нет! Вовсе не о Петре III, муже своей возлюбленной, писал польский король Станислав Август Понятовский (в конце 1750-х гг. он еще не занимал престола, жил в Петербурге, был вхож ко двору и состоял в интимных отношениях с Екатериной, тогда еще великой княжной. Их дочь Анна, вскоре, впрочем, умершая, получила ранг принцессы, будучи официально дочерью наследника трона Петра Федоровича), а о «короле-солдате» Фридрихе II Прусском! Зато Ж. Л. Фавье, секретарь французского посланника в Петербурге, действительно описывал Петра Федоровича, тогда еще великого князя (дело происходило незадолго до его вступления на престол, в 1761 г.).

Нечто похожее произойдет чуть позже и с описанием внешности Е. И. Пугачева, принявшего имя покойного императора. Общеупотребительное его обозначение во всех правительственных актах как «злодея» требовало и адекватного внешнего определения. И уже в прокламации Оренбургского коменданта И. А. Рейнсдорпа от 30 сентября 1773 г. Пугачев описывался как беглый казак, который «за его злодеяния наказан кнутом с поставлением на лице его знаков». Эта фантастическая подробность даже подтверждалась свидетельствами некоего солдата-перебежчика. Неловкая выдумка оказалась наруку повстанцам: ссылаясь на нее, они доказывали «истинность» Петра III—Пугачева. И сам он, согласно протокольной записи допроса в Яицком городке, вспоминал 16 сентября 1774 г.: «Говорено было, да и письменно знать дано, что будто я бит кнутом и рваны ноздри. А как оно не было, то сие не только толпе моей разврату не причинило, но еще и уверение вселило, ибо у меня ноздри целы, а потому еще больше верили, что я государь» [48, с. 403; 89, № 4, с. 117]. Как видно, пресловутая стереотипность мышления с сопутствующими образными представлениями сбивала с толку и в этом случае. Между тем, наиболее четкое описание внешности героя легенды и его носителя дал А. С. Пушкин. «Государь Петр III, — писал он, — был дороден, белокур, имел голубые глаза; самозванец был смугл, сухощав, малоросл» [102, т. 9, ч. 1, с. 394].\* (\* В этом контексте некоторый интерес представляют результаты организованной нами с участием специалистов ленинградского Дома моделей экспертизы одежды из фондов Государственного Эрмитажа (Ленинград) и Государственного исторического музея (Москва), предположительно принадлежавшей Петру III в последний период его жизни. Ведущий конструктор В. Н. Кудряшов, выполнивший в апреле 1986 г. контрольные обмеры



*эрмитажного мундира, в сопоставлении со сведениями, ранее полученными из ГИМ и с учетом поправок на внешние факторы (усадка материала, особенности моды и манеры ношения одежды в 50—60-е гг. XVIII в., личные привычки императора и т. п.), пришел к следующим выводам. Внук Петра Великого, подобно своему деду, был узок в плечах, ростом около 167—170 см. По современным стандартам его костюм соответствовал приблизительно 44—46 размеру, третья полнота. Судя по обмеру треуголки из ГИМ, окружность головы составляла около 60 см. Треуголка Петра III из Военно-исторического музея А. В. Суворова в г. Кобрин (Брестская обл. БССР) имеет по внутреннему ободку 57 см. Впрочем, научная методика восстановления фигуры по костюму не разработана. Поэтому результаты проведенной экспертизы следует пока рассматривать как предварительные.)*

Петр III пробыл на российском престоле всего 186 дней — с рождественского полудня 25 декабря 1761 г., когда скончалась его тетка, императрица Елизавета Петровна, до утренних часов 28 июня 1762 г., когда в результате государственного переворота на престол вступила его жена Екатерина II. Несмотря на столь короткий срок, а может быть и благодаря этому, суждения о нем современников и опиравшихся на них впоследствии потомков отличались крайним разнообразием, иногда даже диаметральной противоположностью.

В этой книге нет возможности подробнее останавливаться на калейдоскопе таких суждений, хотя обзор их был бы поучителен во многих отношениях. Ведь среди тех, кто позитивно оценивал Петра III, находились такие выдающиеся представители отечественной культуры, как В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин. . . Отнюдь не легковесный интерес к «несчастному Петру III» [102, т. II, с. 289] проявлял и А. С. Пушкин — согласно именному указателю к большому академическому изданию его «Полного собрания сочинений», имя Петра III упоминалось на 111 пушкинских страницах. Несколько любопытных воспоминаний о нем А. С. Пушкин записал в 1833—1835 гг. со слов престарелой кавалерственной дамы Н. К. Загряжской, дочери гетмана и президента Академии наук К. Разумовского — свидетельницы минувшей эпохи. И все же негативная оценка оказалась более живучей. Она была безоговорочно, за малыми исключениями, воспринята крупнейшими русскими историками дореволюционной поры, от С. М. Соловьева до В. О. Ключевского и во многом не преодолена до сих пор (на это справедливо обращал внимание С. М. Каштанов в комментариях к соответствующему тому «Истории России» С. М. Соловьева).

В результате между привычными представлениями о Петре III и образом связанной с его именем легенды возникает не просто контраст, но вопиющее противоречие. Что это — следствие наивности и иллюзорности народного политического сознания? Полнейшая утрата им здравого смысла? Ошибка?

Нам, прекрасно понимающим классовую сущность царского самодержавия, нет нужды ни «обвинять», ни «защищать» Петра III. Но сегодня не менее хорошо известно и одно из требований научного подхода к изучаемому явлению — историзм. И потому следовало бы разобраться в причинах, по которым фигура «третьего императора» попала в центр внимания народных масс в 60—70-е гг. XVIII в. Причем не только в России, но и за рубежом. Это существенно еще и потому, что история не безлична. Наоборот, она является результатом деятельности людей, преследующих свои цели. Ф. Энгельс отмечал, что «в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям» [4, с. 306]. И то, как реализовывался механизм такого поведения народной культурой — вопрос, далеко не праздный. По этому поводу хотелось бы сослаться еще на одну чрезвычайно важную и плодотворную мысль Ф. Энгельса: «Исследовать движущие причины, которые ясно или неявно, непосредственно или в идеологической, может быть, даже в фантастической форме отражаются в виде сознательных побуждений в головах действующих масс и их вождей, так называемых великих людей, — это единственный путь, ведущий к познанию

законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельные периоды или в отдельных странах» [4, с. 308].

Давно уже отмечено, что тот или иной характер оценки Петра III в значительной мере определялся позицией писавших о нем. Призывая к объективности, Н. М. Карамзин еще в 1797 г. со страстной запальчивостью заявлял, что «обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость. . .» [73, с. 126—127]. Сказано, возможно, сильно, но в основе своей верно. Но как раз с критическим анализом привлекаемых источников дворянская и буржуазная историография и публицистика не спешили.

И ясно почему. Ведь Екатерина пришла к власти в результате узкого дворцового заговора. В. И. Ленин подчеркивал, что перевороты XVIII в. совершались в интересах соперничавших групп господствующего класса и состояли в том, «чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой» [10, с. 443]. Но екатерининский переворот завершился не просто сменой лиц на троне, но и убийством Петра III — монарха, по всем представлениям той эпохи, законного. Но разве могли это открыто признать историки и публицисты монархического и буржуазного направлений? Конечно, нет. Насильственный переворот необходимо было оправдать, доказать его неизбежность и обосновать его благодетельность. Так и родилась версия, согласно которой Петру III просто невозможно было оставаться у власти. Разумеется, во имя «высших национальных интересов страны».

При этом основным источником, на который опирались сторонники этой версии, оказались, как ни странно, «Записки» сменившей этого императора Екатерины II. Над «Записками» она работала большую часть своей жизни, но наиболее интенсивно с начала 1770-х гг. [128, с. 150]. Написанные талантливо, с большой долей наблюдательности, мемуары императрицы оказали поистине гипнотическое воздействие на несколько поколений ученых, публицистов, писателей. Между тем, это были не рядовые воспоминания, а в первую очередь острый политический памфлет, в котором стремление оправдать свои действия и скрытая полемика с противниками сочетались с сатирой и гротеском при изображении своего супруга — будущего Петра III. «При чтении этих страниц, — писал А. И. Герцен, впервые издавший «Записки», — предугадываешь ее, видишь, как она превращается в то, чем стала впоследствии . . . она уже охвачена тоской по Зимнему дворцу, жаждой власти» [41, т. 13, с. 379].

Нельзя, конечно, утверждать, что все в «Записках» Екатерины II неверно. Но к содержанию их нужно относиться осторожно, критически, проверяя приводимые в них сведения и сопоставляя разные редакции мемуаров. Вот лишь один, но довольно типичный пример: описание сцены знакомства Екатерины с Петром в 1739 г. В ранней редакции воспоминаний, еще до вступления на престол, Екатерина писала: «Тогда я впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про одиннадцатилетнего мальчика . . . рассказывали прямо-таки чудеса» [51, с. 6]. Но освещение той же сцены решительно меняется в последней редакции «Записок»: «Тут я услышала, как собравшиеся родственники толковали между собою, что молодой герцог склонен к пьянству, что приближенные не дают ему напиваться за столом» [65, с. 11, 23]. Тенденциозный произвол мемуариста до смешного очевиден, бросается в глаза. Но по соображениям, о которых сказано ранее, всего этого предусмотрительно старались не замечать.

При жизни императрицы и длительное время после ее смерти «Записки» были мало кому доступны. Но заложенные в них идеи находили отражение в официальных манифестах и других документах Екатерины II, обосновывавших ее политику, антинародную и крепостническую по своей сущности. И именно это находилось в решительном противостоянии с народными представлениями о добре и зле, которые, как подчеркивал Ф. Энгельс, отражались в массовом сознании в различных, в том числе и в

«фантастических формах». В данном случае — в форме легенды о герое-избавителе. Поэтому стремление разобраться в оценке личности, деятельности и образа Петра III, например, способствует не только более полному пониманию особенностей народной психологии эпохи освободительных выступлений 60—70-х гг. XVIII в., но — через это — и критике восходящих к дореволюционной историографии взглядов на Екатерину II чуть ли не как на «народную избранницу».

Мысль о рассмотрении этой темы комплексно, с точки зрения межславянских народных контактов, возникла у автора еще в 1972—1973 гг. С этого времени он приступил к розысканиям в Архиве внешней политики России Историко-дипломатического управления МИД СССР (АВПР), Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА), Центральном государственном историческом архиве СССР (ЦГИА СССР), Отделе рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ОР ГПБ), Ленинградском отделении Архива АН СССР (Л О А АН), Павловском дворце-музее, Государственном историческом музее в Москве (ГИМ), Государственном историческом музее Эстонской ССР. Привлекались и материалы зарубежных хранилищ — Государственной библиотеки Чешской Социалистической Республики и Славянской библиотеки в Праге (ЧССР), Научной библиотеки в Гете и Архива Гете и Шиллера в Ваймаре (ГДР), Архива земли Шлезвиг-Гольштейн, Библиотеки им. герцога Августа в Вольфенбютеле и местного отделения Земельного архива ГанOVERA (ФРГ).

Пользуясь случаем, автор приносит благодарность руководству и сотрудникам этих учреждений, а также другим лицам, оказавшим помощь в работе над книгой, в том числе — С. Р. Долговой, В. П. Зарембо, Ю. Е. Копелевич, И. В. Лёвочкину, Б. Н. Путилову, Р. Ш. Соту, Х. Талло, И. А. Шафран, Ф. Г. Шклярову. С благодарностью автор отмечает содействие, которое оказали ему в сборе материалов и зарубежные коллеги — Я. Вавра, Э. Велинская, М. Белинский и П. Прейс (Прага), В. Дитце (Ваймар) и Х. Клаус (Гота), Л. Дуркович (Белград), Е. Милович (Задар) и С. Костич (Нови Сад), В. Пранге (Шлезвиг), Д. Лент, С. Зольф и П. Раабе (Вольфенбютель), З. Константинович (Инсбрук).

Непосредственно в тексте упоминается лишь сравнительно небольшая часть выявленных материалов: сказались многоаспектность темы и ограниченный объем книги. Однако собранная нами документальная база в ряде случаев открывала путь построенным на ее основе обобщенным характеристикам и суждениям по конкретным вопросам, ранее недостаточно освещавшимся именно из-за незнания этих источников. Автору принадлежат также стихотворные переводы, цитируемые в книге.

Одновременно автор широко привлекал работы отечественных и зарубежных ученых, прежде всего труды советских исследователей. Так пытались мы, следуя завету А. С. Пушкина, поверять молчащие документы опытом нескольких поколений исследователей, чтобы, отталкиваясь от этого опыта и поверяя его в свою очередь документами, высветить в них живую память народную. И начнем мы со случая, который произошел в апреле 1765 г. в селе Охлупьевском.

## **С ВЕРОЙ В СВОБОДУ: 1762—1773**

В апреле 1765 г. в селе Охлупьевском, приписанном к Кыштымскому заводу Демидова, появился человек, назвавшийся «сенатским фурьером Михаилом Резцовым». Времена были неспокойные. С 1760 г. крестьяне и работные люди Каспийского и Кыштымских заводов Демидовых, доведенные до крайней нужды и отчаяния, отказались исполнять свои повинности. Центром волнений стали Масленский острог и Барневская слобода, что неподалеку от Шадринска. Только применение против взбунтовавшегося народа воинских отрядов привело к «временному замирению», почти 300 человек «ушли в бега»: поймать их не удалось. А в 1762 г. вспыхнула так называемая «дубинщина» — восстание приписных крестьян Долматовского монастыря, расположенного поблизости.

Во главе «дубинщины» стоял бывший служка этого монастыря Кузьма Мерзляков. Несмотря на жалобы и вооруженное сопротивление крестьян, в 1764 г. правительству удалось подавить движение. Расправа была жестокой, более полутора сотен участников было повешено на стенах Долматовского монастыря. Мерзлякову удалось скрыться от рук карателей и незаметно пробраться в Троицкую крепость, стоявшую на реке Исеть неподалеку от Долматова. Между тем крестьяне Масленского острога и Бар-невской слободы с августа 1764 г. вновь стали волноваться, собираясь на сходы для составления петиции правительству.

Прибытие сенатского «фурьера М. Резцова» пришлось на период нового подъема движения приписных крестьян и горнорабочих. Приняв их сторону, «фурьер» распорядился наказать тех, кто поддерживал Демидова и доносил на недовольных. Он принял от них челобитные и обещал переправить их в Петербург. А вскоре шадринские власти к своему изумлению получили «ордер» с требованием не вмешиваться в дела охлупьевских и соседних крестьян «от находящегося в Масленском остроге из Санкт-Петербурга в силу ея императорского величества указа для некоторого секретного дела фурьера Резцова» [67, т. 1, с. 476]. Вскоре, 13 мая, он направил новый «ордер», а сам с женой, сыном и четырьмя крестьянами выехал в Петербург, где, по доносу, был пойман и арестован. К тому времени власти выяснили, что под именем сенатского курьера Резцова фигурировал казак Чебаркульской крепости Исетской провинции Федор Каменщиков, который уже неоднократно выступал прежде в защиту угнетенных, был бит за то кнутом и посажен в Троицкую крепость. Здесь он встречался и с предводителем «дубинщины» Мерзляковым. При разбирательстве дела было установлено, что Каменщиков собирал крестьян и «возмущал» их, причем действовал не один, а «с ним жена ево и крестьяне Егор Прокофьев, Кирила Ширяев да Семен Телминов и морского флота отставной капитан Аристов, дворовый человек Федор Андреев» [16, № 405, л. 21].

Однако властей смущал не столько сам факт подобной деятельности Каменщикова, сколько уверения его, будто бы император Петр III жив и вместе с оренбургским губернатором Д. В. Волковым неоднократно приезжал в Троицкую крепость «для разведывания о народных обидах в ночные времена, на которых де он, Каменщиков, и надежду имеет» [108, с. 111]. При этом Каменщиков показывал печатный указ о присяге Петру III, якобы лично переданный ему. Несмотря на троекратные пытки, примененные к нему в сентябре 1766 г., Каменщиков от своей версии не отказался, за что был бит кнутом, клеймен и, по вырезании ноздрей, сослан на вечные каторжные работы в Нерчинск. Почему же распространение Каменщиковым слухов, что Петр III жив, так обеспокоило и напугало власти?

### **Старт легенды**

Днем 28 июня 1762 г. в столичном Казанском соборе при стечении публики и высшего духовенства в присутствии Екатерины был оглашен манифест о ее вступлении на самодержавный престол. Между тем, Петр III развлекался с придворными в Ораниенбауме, а утром этого дня направился в Петергоф, надеясь найти там свою супругу — на следующий день было намечено торжественное празднование дня Петра и Павла. Лишь с опозданием в несколько часов, случайно и из вторых рук узнал он, что, так сказать, заочно лишился российского трона. Бывшего самодержца арестовали и препроводили под конвоем в Ропшу. Здесь 6 июля его задушил А. Г. Орлов, брат фаворита новой императрицы и один из руководителей переворота. Впрочем, подробности этих событий — тема особая. Отметим лишь то, что имеет непосредственное отношение к последующему изложению.

Во-первых, свержение Петра III явилось полнейшей неожиданностью не только для народных масс, далеких от придворных интриг, но и для основной части дворянства, в особенности провинциального. «Что за зрелище для народа, — приводил А. И. Герцен

слова тогдашнего французского посла в Петербурге, — когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был свергнут с престола и потом убит, с другой — как правнук царя Иоанна увязает в оковах,\* (\* *Иван Антонович, внучатый племянник и преемник Анны Ивановны, в возрасте двух месяцев объявленный императором и номинально занимавший трон с октября 1740 г. по ноябрь следующего года, не без косвенного участия Екатерины II был 5 июля 1764 г. убит в Шлиссельбургской крепости.*) в то время, как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная царевубийством свое собственное царствование» [41, т. 14, с. 372-373].

Глубоко ошибочным было утверждение выдающегося историка прошлого столетия С. М. Соловьева, что заговор Екатерины являлся следствием «всенародного недовольства». Комментируя такой взгляд как «явное преувеличение», С. М. Каштанов указывал: «Петром была недовольна часть высшей знати и гвардия, а так же духовенство. Дворянство же в целом радовалось манифесту о вольности. Крестьяне наивно верили и ждали, что за манифестом о дворянской вольности последует освобождение крепостных» [110, кн. 13, с. 605].

Во-вторых, сам переворот происходил далеко не так гладко, как в этом пыталась затем утвердить официальная пропаганда. У сторонников Екатерины в эти часы и дни было немало критических ситуаций, когда замысел заговорщиков висел, казалось, на волоске. В самый ответственный момент, когда сторонники Екатерины утром 28 июня агитировали в Петербурге гвардейские полки в свою пользу, им пришлось встретиться не только с колебаниями, но даже с глухим, а подчас и открытым сопротивлением. Так, подполковник артиллерии Л. А. Пушкин призывал солдат не поддаваться уговорам, а оставаться верными присяге. Когда измайловцы и семеновцы уже высказались в поддержку Екатерины, именно преображенцы в ответ на призывы своих офицеров С. Р. Воронцова, П. И. Измайлова и П. П. Воейкова сохранять верность Петру III дружно кричали: «Мы умрем за него!» [40, с. 36]. Поведение офицеров, оставшихся верными присяге, для сторонников новой императрицы, естественно, было опасным. Многие из них (в том числе С. Р. Воронцов) были арестованы, а Л. А. Пушкин — сурово наказан. В то время, как приближенные к Петру III сановники, отбыв кратковременное задержание, были выпущены, Л. А. Пушкина заточили в крепость. После выхода оттуда вплоть до самой смерти в 1790 г. он уже никогда не служил Екатерине II. Любопытно, что это был по отцовской линии дед А. С. Пушкина, о котором последний в автобиографических набросках не без симпатии писал: «Лев Александрович служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях» [102, т. 12, с. 311].

Но и установив контроль над гвардией, сторонники Екатерины встречали в те дни сопротивление, что вынуждало их прибегать не только к угрозам, но и к прямому подкупу. Так, один из очевидцев утверждал: «Я лично видел, как один матрос плюнул в лицо гвардейцу, сказав при этом: «Ты, бессовестный ТЕП, продал императора за два рубля» [147, с. 202]. Помимо ряда прямых свидетельств современников, наличие таких настроений подтверждается и некоторыми косвенными данными. Так, шефом Преображенского полка Петр III продолжал считаться до 28 июля 1762 г., т. е. целый месяц после своего свержения и гибели. Лишь после этого его заменила Екатерина II. Ф. Энгельс, занимавшийся, как известно, русской историей, позднее в письме К. Марксу 21 апреля 1863 г. назвал государственный переворот, совершенный Екатериной II, «низостью» и «дрянью» [5, с. 282].

Все это требовало обоснования: прямых прав на российский престол бывшая анхальт-цербтская принцесса не имела. Она могла быть императрицей либо «по мужу», либо «по сыну» (как регентша). Но умная и властолюбивая Екатерина не напрасно дождалась почти два десятилетия своего часа, чтобы упустить из рук самодержавную власть.

Первым актом, оправдывавшим переворот, явился наскоро составленный манифест, оглашенный 28 июня в Казанском соборе, а затем отпечатанный и преданный гласности [97, т. 16, № 11582]. Отсутствие традиционных в таких случаях ссылок на правопреемство (это чуть позже Екатерина II станет именовать Елизавету Петровну «теткой», а Петра I — «дедом») заменялось напыщенной риторикой, призванной оказать воздействие на религиозные и патриотические чувства подданных. Текст документа, в котором имя Петра III не упоминалось, начинался словами: «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самым делом, а именно. . .». Далее против предшественника Екатерины выдвигались три основных обвинения. Во-первых, «потрясение и истребление» церкви с «подменою древнего в России православия и принятием иноверного закона»; во-вторых, заключение мира с Фридрихом II Прусским (имя его также названо не было, а он именован «злодеем»), в результате чего «слава Российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием чрез многое свое кровопролитие . . . отдана уже действительно в совершенное порабощение»; в-третьих, плохое управление, вследствие чего «внутренние порядки, составляющие ценность всего нашего Отечества, совсем испровержены». И как вывод из всего этого — заключительные слова манифеста: «Того ради, убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш Всероссийский самодержавно, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили». Таков был первый пропагандистский камень, положенный в основание трона Екатерины. Второй явился 6 июля под названием «Обстоятельный манифест о восшествии ее императорского величества на всероссийский престол». Это был удивительный, противоречивый и отчасти загадочный документ: напечатанный лишь 13 июля, он впоследствии не вошел в Полное собрание законов Российской империи.

Повторив уже известные обвинения в адрес Петра III (теперь уже названного по имени), манифест дополнил их рядом новых, в том числе таких, как неуважение к покойной Елизавете Петровне, намерение убить Екатерину и устранить от наследования престола Павла. Другой мотив «обстоятельного манифеста» — уверение, что императрица не имела «никогда ни намерения, ни желания таким образом воцариться», но свершила это, дав согласие «присланным от народа избранным верноподданным». Оба аргумента звучали по меньшей мере двусмысленно. Что значило — «таким образом воцариться» (ценой отречения или ценой жизни супруга?). И что это за «избранные верноподданные»? Именно в этом манифесте приведены известные слова: «Но самовластие, необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствием непосредственного бывает причиною» [78, с. 217]. Эти слова сыграли роль приманки для той группы дворянства, во главе с Н. И. Паниным, которая мечтала об ограничении самодержавия сословной конституцией. Вынужденно кокетничая своим «либерализмом», Екатерина II не только не собиралась выполнить такого обещания, но в сущности никогда и никому его не давала. В конце манифеста был приложен текст отречения Петра III, датированный 29 июня (речь об этом ниже). Содержание манифеста и манипуляции с датами его подписания (6 июля) и опубликования (13 июля) создают впечатление, что он возник либо после убийства бывшего императора, либо означал смертный приговор ему.

Лавина экстренных правительственных сообщений не иссякала. На следующий день после убийства, т. е. 7 июля, до сведения «верноподданных» были доведены два очередных манифеста — о предстоящей коронации Екатерины II (№ 11598) и о кончине ропшинского узника (№ 11599).

Теперь уже требовалось объяснить причину не только свержения Петра III, но и его смерти, скрыв, разумеется, подлинные ее подробности — как ни как речь шла о цар-

ственной особе, прямом внуке Петра I! Был придуман «диагноз», долженствовавший, вероятно, по мысли приверженцев Екатерины, посмертно унижить правителя, о неспособности которого царствовать трактовал первый манифест: Петр III умер не от какой-либо «благородной» болезни, а от того якобы, что «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в пружестокую колику». Этот фантастический документ, которым бывшего императора повелевалось похоронить в Александро-Невской лавре (а не в соборе Петропавловской крепости, как полагалось бы по чину), завершался не менее фантастическими словами: «Сие же бы нечаенное в смерти его божие определение принимали за промысел его божественный, который он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему Отечеству строит путем, его только святой воле известным». Иначе говоря, манифест не просто извещал о смерти свергнутого монарха — населению предписывалось слепо, без рассуждений верить, что умер он в результате прямого и необычайно своевременного вмешательства божественной десницы, а вовсе не от рук задушившего его А. Г. Орлова. От имени императрицы, надевшей на себя фальшивую маску богомольной защитницы русского православия, трудно было, пожалуй, изобрести более издевательское и столь кощунственно звучащее объяснение случившемуся. Но, за неимением иной, более веской и убедительной аргументации, годилась и такая.

Она была использована и в другом, одновременно появившемся манифесте — о предстоящей коронации. В нем религиозное мифотворчество достигло апогея: речь шла уже не о том, почему Екатерина взшла на престол, а о том, что она вынуждена была так поступить по велению бога и под угрозой ответственности в будущем «пред страшным его судом», поскольку де того «самая должность в рассуждении бога, его церкви и веры святой требовала». А посему ее действия благословил «он, всевышний бог, который владеет царством и кому хочет, дает его». Это уже не просто кощунство, но и злая пародия на закон Петра I от 5 февраля 1722 г. о престолонаследии (согласно которому правящий монарх может назначать преемника по своему усмотрению). По смыслу же манифеста 7 июня российский престол Екатерине II вручил сам всевышний!

Риторика риторикой, но для многих современников не являлось тайной, кем был в действительности тот «божественный промысел», которым Екатерина II оказалась возведенной на престол. Вот, скажем, воспоминания очевидицы тех дней, фрейлины Н. К. Загряжской, дочери К. Г. Разумовского, записанный с ее слов в 1830-х гг. А. С. Пушкиным, что, конечно, само по себе достаточно важно. В этой записи мы читаем: «При Елизавете было всего три фрейлины. При восшествии Екатерины сделали новых шесть — и вот по какому случаю. Она, не зная, как благодарить шестерых заговорщиков, возведших ее на престол, заказала шесть вензелей с тем, чтобы повесить их на шею шестерых избранных. Но Никита Панин отсоветовал ей сие, говоря: „Это будет вывеска“. Императрица отменила свое намерение и отдала вензеля фрейлинам» [102, т. 12, с. 202].

Вопреки настойчивым уверениям лицемерных манифестов Екатерины II, толки о подоплеке произошедших событий охватили разные слои общества, начиная с социальной верхушки. «Удивительно, — писал 23 июля (3 августа) Б. В. Хольц, — что многие лица теперешнего двора, вместо того, чтобы устранять всякое подозрение. . ., напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя. . . . Никогда в этой стране не говорили так свободно, как теперь» [93, с. 18]. Демагогическая аргументация основополагающих манифестов смущала даже церковных иерархов, хотя как раз с ними новая императрица заигрывала сугубо. Среди них, например, находился крутицкий архиерей Амвросий, письмо которого о затруднениях касательно формы поминовения Петра III со своей докладной запиской препроводил Екатерине II в 1763 г. гр. А. П. Бестужев-Рюмин, бывший канцлером и ее тайным конфидендом во времена Елизаветы Петровны. Речь шла о том, что по силе траурного манифеста покойного императора следовало именовать «благочестивейшим». Между тем, по мнению архиерея, к которому присоединился и А. П. Бестужев (даже он!), «от сего названия

неминуемо произойдет, во-первых, само собою ясное противоречие тем главным порокам, за которые он престола лишен и о которых в изданных от ее императорского величества манифестах точно изображено». Скрупулезно напомнив об этих «пороках» (подрыв православной церкви, истребление «страха божьего» и намерение ввести «иноверный закон»), автор письма ссылаясь и на то, что «по всей публике» (!) носятся слухи, будто бы Петр III скончался без надлежащего церковного покаяния (недвусмысленный намек на насильственную смерть, ибо о каком покаянии можно было в таком случае помышлять). Отсюда делался второй и самый убийственный, хотя и верноподданнически сформулированный, вывод — из-за именованя Петра III «благочестивейшим» в народе «может легко и такое еще, ют чего боже сохрани, крайне вредительное соображение сделано быть, якобы все показанные пороки на него напрасно возведены и какие-нибудь другие виды низвержения были» [53, с. 432]. Попутно автор письма не без язвительности замечал, что Екатерина II, которая пришла к власти под знаменем защиты православия, в отличие от своих предшественниц Анны Ивановны и Елизаветы Петровны не сделала денежных пожалований ни в московские соборы, ни знатному духовенству.

Но если так мыслили социальные верхи, то что же говорить о народе? Трескучие фразы екатерининских манифестов порождали в нем скорее недоумение, а игра на патриотических и религиозных чувствах не приносила желаемого эффекта. Более того, недоверие к правящей дворянской верхушке было столь велико, что «все показанные пороки» на Петра III обретали в массовом сознании иной смысл: Екатерина, захватив власть без всякого права, извела мужа, а «притворяясь набожной, она смеется над религией». Возникали домыслы, что император «куда-то запрятан» [93, с. 30].

«Не только в простом народе, — отмечал А. С. Пушкин, — но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?» [102, т. 9, ч. 1, с. 371]. Так думали и многие за рубежом: В далеком от Петербурга чешском местечке Либезницы приходской католический священник Иржи Вацлав Пароубек в своей рукописной хронике за 1762 г. написал о Петре III: «Его содержат в заключении в каком-то замке» [141, с. 83]. От таких представлений до версии о «чудесном спасении» оставался один шаг. И он был сделан: довольно скоро задушенный в Ропше незадачливый император «ожил» в народном самозванчестве.

Так в причудливом сочетании подлинных фактов и разнообразных, порой фантастических домыслов завязывался бурным летом 1762 г. узел легенды о Петре III как о царе-избавителе.

### **Эстафеты „чудесного спасения“**

В основных чертах легенда о царе-избавителе сформировалась к 1764 г. «Идеализация царевича Петра Федоровича, — отмечал исследовавший эту проблему К. В. Чистов, — краткость его царствования, насильственное отстранение, а затем убийство, появление на троне очередной женщины-царицы „не прямого“ и „не природного“ происхождения — все это необычайно ускорило формирование легенды». В процессе ее складывания то здесь, то там разносились слухи об «объявлении» Петра III, подготовившие выступления первых самозванцев под его именем. Основным ареалом их действий стали центральные и южные районы России, Левобережная Украина, Поволжье, Оренбургская губерния. «Расширение „географии“ самозванчества, — писал С. М. Троицкий, — свидетельствовало о нарастании классовых противоречий в стране» [115, с. 142].

Не менее примечательна и социальная география распространения подобных слухов. Это были солдаты и унтер-офицеры, казачество, однодворцы, крестьянство и работные люди, а также отчасти чиновничество и низшее духовенство. Своего рода



эпицентром зарождения и развития легенды, насколько можно судить по имеющимся источникам, явилась петербургская военно-служилая среда [108, с. 96-97].

Но вера в спасение Петра III не могла существовать бесконечно в столь абстрактной форме: следующим шагом должна была стать и действительно стала локализация его местонахождения. Едва ли не наиболее ранней, относящейся уже к 1763 г., явилась версия, согласно которой бывший император укрывается где-то у яицких (уральских) казаков. Этой-то версией десятью годами позже воспользовался Е. И. Пугачев. Но уже с самого начала это показалось настолько убедительным, что священник и дьякон одной из деревенских церквей под Уфой отслужили в честь «спасения» императора благодарственный молебен.

Более того, находились даже очевидцы, утверждавшие, будто видели Петра III собственными глазами. С лета 1764 г., например, по Полтавщине поползли слухи, что он проезжал здесь в форме гусарского вахмистра. В том же году был задержан Данила Тихонов, крепостной одного курского помещика, за то, что говорил о своей встрече с царем в доме какого-то канцеляриста в Курске.

Районом распространения таких слухов были в основном Поволжье, Урал и южные губернии, включая Украину. Мы уже указывали, что Ф. Каменщиков («фурьер Резцов») упорно твердил, даже под пытками, о неких тайных поездках Петра III вместе с оренбургским губернатором Д. В. Волковым. Д. Тихонов сообщал, что из Курска император якобы направился в Киев, где «ныне находится». Точно так же и полтавские слухи мотивировались тем, что Петр III якобы едет в Киев, чтобы «рассматривать Малую Россию». Во всех этих случаях характерно наличие сквозного мотива: тайный, скрытный объезд Петром III страны для ознакомления с жизнью народа с целью последующего ее улучшения. Этот мотив постепенно все более развивался. Олонецкий дворянин Трофим Клишин, например, в 1772 г. заявлял, что Петр III «ныне находится благополучно у донских казаков и хочет идти с оружием возвратиться себе престол» [108, с. 113].

Касаясь ранних слухов о том, что Петр III жив, К. В. Сивков справедливо замечал, что они «подготовили почву для появления самозванцев» [108, с. 97]. Но, возможно, и не только подготовили. Не исключено, что в основе показаний «очевидцев» лежал не просто вымысел, но и отзвук реальных случаев раннего самозванчества, сведений о которых не сохранилось или пока еще не выявлено. Симптоматично, по крайней мере, что именно в зонах распространения слухов о пребывании там спасшегося Петра III появились самозванцы, о которых нам точно известно.

Произошло это в 1764 г., когда почти одновременно объявились два «Петра III»: украинец Николай Колченко, действующий при помощи некоего В. Филоненко в районе Глухова на Черниговщине, и оказавшийся на мели и подчистивший свой паспорт армянский купец Антон Асланбеков, который обосновался в округе Курска и Белгорода и до объявления себя императором (от чего позднее на следствии отказывался) занимался врачеванием крестьян, в основном оленеводов. Оба они были задержаны и после физических наказаний сосланы в Нерчинск.

Случай Н. Колченки подтверждает мысль К. В. Чистова о генезисе народной легенды о Петре III на базе предшествующей идеализации великого князя как долгожданного царевича-избавителя. Об этом свидетельствует любопытная, но ускользавшая от внимания исследователей, деталь из дела Н. Колченко. В протоколе следствия записано: «Он, Николай, о себе сказывал, что я де наследник Петр Федорович» [16, ф. 6, № 404, л. 4]. Выходит, строго говоря, что первый самозванец, принявший это имя, выдавал себя не за императора, а за наследника, императором еще не ставшего! Преемственная связь легенд о «царе-освободителе» и «царевиче-освободителе» просматривается здесь совершенно отчетливо: видимо, новая легенда, обретая распространение, далеко не повсеместно успела сделаться в народном сознании устойчивой. Характерно, впрочем, что в дальнейшем подобное смешение ни у одного самозванца более уже не встречается.

Два новых самозванца под именем Петра III появились в следующем, 1765 г. Это были: 35-летний беглый солдат ландмилиции Гавриил Кремнев, происходивший из однодворцев села Грязновка Лебедянского уезда Воронежской губернии, и двумя годами старше его беглый солдат Брянского полка Петр Чернышев, в прошлом также однодворец. Оба они действовали поблизости друг от друга, хотя между собой и не были связаны: Кремнев в ряде уездов Воронежской губернии, Чернышев — в Купенской слободе. Основную социальную базу Кремнева составляли однодворцы, от 200 до 300 человек, причем по приговору к разным видам наказаний было привлечено 42 человека. Кремнева и Чернышева поддерживали также представители сельского духовенства. Оба они были схвачены, сурово наказаны и сосланы тоже в Нерчинск. Здесь Чернышев при поддержке сторонников продолжал утверждать, что он — подлинный император. Он установил связи с тун-гузскими князьями Гантимуровыми и обещал освободить работных людей. За это его вторично осудили и направили в Енисейск, по дороге куда он в январе 1771 г. скончался.

После короткого перерыва самозванческое движение в 1772—1773 гг. вновь активизировалось. Крупнейшую роль в нем накануне Крестьянской войны сыграл 25-летний Федот Иванович Богомолов, беглый крепостной гр. Р. И. Воронцова из села Спасское Саранского уезда. Незадолго до своего «объявления» он записался под именем Федота Казина в Московский легион, который формировался в центре Донского войска Дубовке. Здесь с 1771 г. ходили слухи, что между казаками скрывается Петр III. Воспользовавшись этим, Богомолов и объявил себя императором. Хотя вскоре он был арестован и в оковах переправлен в Царицын, популярность Богомолова летом 1772 г. достигла высшей точки. Он встречал поддержку не только среди казачества, но и со стороны солдат, городской бедноты и местного духовенства. Имели место попытки освободить заключенного, а казак Трехостровенской станицы Иван Ильич Семенников возбуждал донских казаков идти «выручать царя». С большим трудом, при поддержке казацкой старшины властям удалось справиться с этим движением. Его активные участники были наказаны, а самого Богомолова, после жестоких мучений сослали на каторгу в Сибирь, но по дороге он умер.

В 1773 г., отчасти совпав с началом движения Е. И. Пугачева, появилось еще два «Петра III»: бежавший с Нерчинской каторги в Астраханскую губернию разбойничий атаман Григорий Рябов и капитан одного из стоявших в Оренбурге батальонов Николай Кретов. Если атаману удалось собрать вокруг себя группу сторонников, в том числе остатки приверженцев Богомолова, которые признали Рябова «императором», то Кретов был авантюристом-одиночкой, решившим эксплуатировать идеи народного самозванчества в корыстных интересах. Но как раз обращение поиздержавшегося пехотного капитана к этим идеям ярко свидетельствовало об актуальности их для народной психологии на пороге загоравшегося крестьянского восстания.

Горизонты социальных обещаний ранних самозванцев «допугачевского» этапа еще очень скромны. «Чаще они связаны не с уничтожением крепостной зависимости» а с ослаблением гнета или различными льготами» [123, с. 145—146]. Их требование — перевод крестьян из разряда помещичьих в государственные.

Очень скоро легенда о Петре III перешагнула пределы России и начала распространяться в зарубежной народной среде. Это примечательно и во многом неожиданно: славянские и вообще зарубежные мотивы этой легенды о царе-избавителе не прослеживались. И все-таки их косвенные отзвуки обнаружить можно. Для сравнения сошлемся на случай самозванства, относившийся к 1765 г, Речь шла о Иеве Евдокимове, беглом рекруте, с 1747 г, скрывавшемся в Унженском, Пошехонском и Белмашском лесах и иных местах у старообрядцев. Правда, выдавал он себя не за Петра III, а за Петра II. Легенда о нем, бытовавшая с 1740-х гг., хотя особого распространения и не получила, имела, по наблюдениям К. В. Чистова, антиолигархический и антидворянский характер. Евдокимов был едва ли не последним носителем этой легенды, В отличие от легенды о

Петре III в ней заметное место играют мотивы заграничных странствий героя. «Петр II»-Евдокимов рассказывал, что был тайно увезен в Италию, где пробыл 24 с половиной года, будучи «закладен в столб каменный на королевском дворе» [108, с. 101]. Когда 9 лет назад столб треснул, он счел это за указание свыше, выбрался наружу и отправился в Россию, причем в пути находился тоже 9 лет. В рассказе Евдокимова, отразившем мотивы житийной литературы и народной сказки, обращает на себя самостоятельная значимость символики чисел, кратных трем. За этим стояли характерные для восточнославянского фольклора представления о сроках странствования и времени возвращения, «объявления» героя, скрывающегося под другой личиной.

Но в рассказе Евдокимова есть еще один пласт, на который до сих пор внимания не обращалось. Сквозь житийно-сказочную ткань проглядывают и некоторые исторические реалии, относящиеся, правда, не к Петру II, а к его отцу, царевичу Алексею, уже при жизни ставшему предметом легенд и народного самозванчества. В основе рассказа Евдокимова лежит эпизод, связанный с бегством в конце 1716 г. Алексея Петровича от гнева отца к германскому императору Карлу VI. Выдавая себя по дороге за польского дворянина, царевич тайно жил в пределах Австрийской монархии — в Вене, Тироле и Неаполе — до начала 1718 г., т. е. два с небольшим года (вспомним срок 24 с половиной года у Евдокимова). Следовательно, «римский король» его рассказа — синоним титула императора Священной римской империи, или, как говорили в России, «римского кесаря». Версия Евдокимова представляет собой для 1760-х гг., кажется, единственный, известный сейчас, образец подробного рассказа о зарубежных «скитаниях» самозванного императора. Чуть позже этот мотив появляется, однако, и в легенде о Петре III. И это понятно: ведь народная молва о «чудесном спасении» героя легенды точного места его пребывания не знала. А потому он мог «объявиться» где угодно. И не только в Курске или на Полтавщине, либо у уральских казаков, но и далеко от России — даже на Балканах!

В свое время видный русский славист и археолог А. И. Яцимирский сообщал, что среди рукописей сербского монастыря Раваницы на Фрушкой горе хранилась местная хроника. В ней под 1762 годом помещена запись о том, что Петр III избежал смерти, спрятался и распустил слух, будто он «преставился от этой жизни», а на самом деле «премудростью своей утаился» [130, с. 515—516]. Далее, по словам А. И. Яцимирского, в летописи говорилось, что Петр III отправился к славянам на Дунай и Саву, был в Белграде, а оттуда «прошел по всему царству турецкому, был в Царьграде и прочих местностях», пока, наконец, не оказался в Черногории. Следующая запись, упоминающая об этом, относится к 22 декабря 1767 г. В ней сказано, что государь Петр Федорович объявился в Черной Горе «своим ручным писанием», т. е. оповестив об этом собственноручной грамотой. Так в посмертной «биографии» Петра III открывается новая и, на первый взгляд, неожиданная страница: в 1766 г. он появляется в черногорской деревне Майна, расположенной на побережье Адриатики.

### **ЧЕРНОГОРИЯ: 1766—1773**

В черногорской деревне Манна, расположенной на побережье Адриатики, в 1766 г. появился незнакомец. Он называл себя Степаном Малым. К тому времени приморские территории Черногории, захваченные Венецианской республикой, именовались «венецианской Албанией». Они управлялись генеральным проведитором — наместником, резиденция которого находилась в Которе, расположенном на берегах залива Бока Которская.

Степан Малый нанялся батраком к Вуку Марковичу (в некоторых документах: Марко Вукович [11, № 470, 1768 г., 21 об.]), зажиточному и влиятельному человеку среди здешних черногорцев. Никто точно не знал, когда я откуда пришел новый батрак. Одни поговаривали, что он поселился у Вука Марковича в начале 1766 г., придя откуда-то издалека. Другие же считали, что в Майну он пришел по осени, а прежде некоторое время

жил во внутренней Черногории в долю родственника Марковича некоего Юрия Кустодия в Негушах. Впрочем, толки на сей счет начались чуть позже, уже в 1767 г. 11« первых же порах мало кто, по-видимому, интересовался пришельцем.

Правда, он довольно скоро обратил на себя внимание умением врачевать, и его имя постепенно приобретало популярность. Людей удивляло и его поведение: в отличие от обычных деревенских знахарей Степан Малый не брал платы до тех пор, пока его подопечные не выздоравливали. При этом он вел с ними проникновенные беседы, рассуждая о доброте и миролюбии, о необходимости прекратить распри между общинами. Стал он лечить и своего заболевшего хозяина. В результате к исходу лета 1767 г. Маркович не только заметно поправился, но и переменял обращение со своим батраком, стал относиться к нему с уважением и даже с какой-то непривычной почтительностью. Уже в августе родились и поползли по деревням слухи, что батрак Марковича человек не простой. Будто бы он открыл своему хозяину, что на самом деле он русский царь Петр III — тайно ушел из России от козней врагов и решил найти покой среди единоверных черногорцев. Правда, сам Степан Малый никогда не заявлял об этом публично. Но слуху поверили, особенно когда нашлись очевидцы. Одним из них был скотовладелец в Маино Марко Танович, находившийся в России на военной службе в 1753—1759 гг. Он рассказывал, что был там представлен самому Петру Федоровичу, который обласкал его и даже пил за здоровье черногорского народа. Поскольку Танович пользовался уважением, его клятвенное заверение, что батрак Степан Малый действительно похож на русского императора, произвело большое впечатление. Его клятву подтвердили и другие черногорцы, побывавшие в 1750-х гг. в России, в том числе монахи Феодосии Мркоевич и Йован Вукичевич. А вскоре в местном монастыре разыскали портрет Петра III и совершенно уверились в сходстве с ним Степана Малого.

### **Человек из царства Московского**

Еще за несколько месяцев до возникновения этих слухов таинственный батрак в феврале 1767 г. попросил одного солдата отнести к генеральному проведитору А. Реньеру письмо, адресованное не кому-нибудь, а самому венецианскому дожу. В письме содержалась настоятельная просьба подготовиться к принятию в Которе в скором времени «свет-императора» [77, т. 82, с. 17—18]. Интригующий характер этого весьма странного и туманно составленного письма, к тому же и не подписанного, заставил венецианские власти через своих агентов заняться выяснением имени автора. Вскоре им удалось узнать, что у Марковича «уже почти год обретается неизвестное лицо, которое для своего существования должно было заниматься сельскими работами, пользуя иногда больных; что, излечив от хронической болезни того же Вука Марковича, незнакомец остался у него в доме и посредством разных хитростей убедил его, что он не только важная особа, но даже сам царь Петр III, избежавший чудесным образом смерти по низложению своем с престола». По-видимому, для проверки столь важных с политической точки зрения сведений Реньер захотел лично увидеть Степана Малого, поскольку последний направил ему послание, датированное 4 сентября 1767 г. В нем говорилось: «Я узнал, что ваше превосходительство желали бы видеться со мной. Исполнению такового желания вашего, если то от бога, никто не может помешать. В противном же случае нам угрожает гнев господень. Сердце Степана Малого твердо! Он не боится врагов! Цвет не расцветет без воли господя, управляющего землей и людьми. Верьте тому, что скажет Марко Танович, Я мог бы написать об этом, но лучше так» [130, с. 520—521]. О чем мог сказать Танович ясно, если вспомнить, что он первым признал в Степане Малом русского императора. Вместе с тем для манеры поведения маинского незнакомца приведенное письмо чрезвычайно характерно: и тогда и позднее он дипломатично избегал ставить точку над «i» касательно определения собственной личности.

По поручению Реньера 11 октября со Степаном Малым встретился и беседовал полковник венецианской службы Марк Анатоний Бубич. Судя по его письменному отчету, беседа эта произвела на него большое впечатление. «Особа, о которой идет речь, — доносил он, — отличается большим и возвышенным умом. Кто бы он ни был, его физиономия весьма схожа с физиономией русского императора Петра III» [77, т. 82, с. 24]. А тем временем Степан Малый продолжал заявлять о себе черногорцам: последовательно, но весьма двусмысленно, с использованием разного рода иносказаний и притч [82, с. 10].

Венецианские власти сильно обеспокоились. Они боялись, что агитационная деятельность Степана Малого не только осложнит их отношения с Оттоманской Портой, но и вызовет подъем враждебных настроений в подвластной им «венецианской Албании». Сенат издал приказ об аресте эмиссаров маинского «Петра III» и тех, кто его укрывает. Но трогать самого Степана боялись: столь широкое распространение получили слухи о нем как о русском императоре, что решительные меры могли бы, по прямому признанию Реньера, «возбудить открытое сопротивление» [119, с. 120]. Возникшая ситуация наглядно отразила настроения черногорской народной среды и во многом объясняет последовавшую с калейдоскопической быстротой цепь невероятных событий.

На сходке черногорских старшин в октябре 1767 г. в горном селе Цегличи Степан Малый был признан русским царем Петром III. В конце того же месяца в Цетиньи собралась скупщина, в которой участвовало семь тысяч человек. На ней Степан Малый был признан не только русским царем, но и «государем» Черногории. Грамота об этом была передана ему 2 ноября 1767 г.

До этого времени Степан Малый пребывал в Майне. Но это уже не был батрак. Вокруг него собрались сторонники, из которых он создал свиту и охранный отряд. Наиболее близкий и преданный ему Марко Танович был назначен великим канцлером (он, по-видимому, был неграмотным). В Майны из разных мест Черногории и других районов Балкан к Степану стекались не только славяне, но также албанцы и греки, чтобы выразить в его лице преданность России и русскому народу. Вскоре после сходки в Цегличах сюда пожаловал сам митрополит, на которого «царь» обрушил обвинения в пороках черногорского духовенства. Дряхлый Савва, не пользовавшийся любовью населения, был вынужден публично признать Степана Малого государем Черногории и Петром III.

Получив официальную грамоту от скупщины, Степан Малый отправился с побережья Адриатики в горную часть страны, где был встречен ликующим народом. Однако судьба готовила ему не только триумфы, но и суровые испытания. Вскоре осложнились его отношения с митрополитом. Савва, чтобы выяснить, жив ли Петр III, направил 12 октября 1767 г. письмо русскому посланнику в Константинополе А. М. Обрескову [96, с. 285—286]. Тот решил согласовать ответ с Петербургом, но между тем направил Савве предварительный ответ. Подтверждая смерть императора, он, как извещал о том Екатерину» выразил митрополиту «удивление о шалостях, чинимых в местах его ведомства» [96, с. 287]. Официальный ответ, в котором Степан Малый назван «плутом или врагом», а Савва обвинялся в «лехкомыслии», был датирован 2 апреля 1768 г. О письме Обрескова митрополит сообщил всем черногорским общинам.

В столь критической для него ситуации Степан Малый показал себя опытным и ловким политиком. Как видно из новейшей публикации, он знал о письме Саввы. И не просто знал, но и сделал на нем приписку, в которой указал, что не именуется иначе, как «Малый Стефан, с добрыми добр». Следовательно, и ответ Обрескова не застал его врасплох. На собрании общин, куда его вызвала для объяснений, он не только не стал оправдываться, но и перешел в атаку. Учитывая непопулярность Саввы, он публично обвинил его в служении интересам Венеции, а также в спекуляциях землей и расхищении ценностей, поступавших в дар из России. Удар был сильным. Не дав смущенному владыке опомниться, Степан Малый сделал следующий шаг — он предложил тут же отобрать у Саввы имущество и разделить его между участниками сходки, с противниками на некоторое время было покончено.

Зато его новым и весьма авторитетным сторонником делается в эти месяцы сербский патриарх Василий Бркич, изгнанный из своей резиденции в городе Печ после ликвидации турками самостоятельной сербской церкви. В марте 1768 г. Василий призвал все православное население почитать Степана как русского царя. По-видимому, для подкрепления этой версии Степан Малый предпринял эффектный шаг — по случаю дня Петра и Павла, отмечаемых православной церковью 29 июня, он организовал торжественную церемонию в честь Петра Великого, а также цесаревича Павла Петровича как своего сына.

Между тем события в Черногории вызывали растущее беспокойство и опасения со стороны правящих кругов соседних держав, прежде всего — Оттоманской Порты и Венеции. Заявляя права на влияние в Черногории, они менее всего были заинтересованы в укреплении новоявленного правителя. Одновременно они подозревали друг друга в тайной поддержке Степана Малого. В его лице определенные международные круги видели, кроме того, креатуру Австрии, Пруссии, Польни и даже антиекатерининской «партии» в России. В особенности этого страшилась сама императрица, по распоряжению которой весной 1768 г. началась тайная подготовка миссии в Черногорию. Ее поручили возглавить советнику посольства России в Вене Г. А. Мерку. Тот отправился в путь в мае 1768 г. Вскоре об этом стало известно не только на берегах Адриатики, но и на Босфоре. Опасаясь возможного усиления русского влияния в Черногории и не желая портить отношения с Османской империей, Венецианская республика сделала все, чтобы сорвать миссию Мерка. Это ей удалось. Добравшись только до Котора, Мерк так и не решился подняться в горы. Не выполнив данных ему инструкций, незадачливый дипломат повернул вспять. Это вызвало гнев Екатерины II, с издевкой назвавшей Мерка «претонким политиком».

Тем временем над Черногорией сгущались тучи. Со стороны Адриатики ей грозили отряды Венецианской республики, с востока — армии турецкого султана. Черногория оказалась блокированной. В июле 1768 г. губернатор и старшины направили Реньеру протест, в котором заверяли в своем миролюбии и обвиняли венецианцев в намерении натравить на страну «турецкую силу». По поводу требования Венецианской республики изгнать Степана Малого черногорцы заявляли, что «вольны в своей земле держать даже турчина, а не только своего брата христианина, да притом такого, который оказал нам столько добра, а вдобавок еще человека из царства Московского, служить которому мы должны и обязаны всегда до последней капли крови» [106, т. 83, с. 8].

Для Степана Малого наступали часы нового испытания, на этот раз особенно серьезного. Венеции, обладавшей давними традициями тайных политических интриг, удалось расколоть часть черногорских общин в «венецианской Албании». Не было полного единства и внутри страны. На скупщине в Цермице часть присутствующих, прежде всего из числа зажиточных черногорцев, связанных торговыми интересами с Приморьем, высказалась за капитуляцию. Но вскоре в Цетинье Степан Малый созвал новую скупщину, на которой убедил народ быть готовым к вооруженной борьбе. Он приказал собирать воинов и строить в горах завалы и укрепления. К черногорцам стали присоединяться добровольцы из Боснии и Албании. Среди военачальников Степана Малого находился албанец Симо-Суца, которого османы панически боялись.

Отряды, предназначавшиеся для борьбы с Венецией» возглавил Танович. Командование же основной частью войска на турецкой границе принял на себя Степан Малый. Военные действия начались осенью и, несмотря на успех Тановича, на наиболее решающем, турецком направлении, оказались для черногорцев неудачными: 5 сентября у села Острог османские войска окружили Степана Малого и наголову разбили его, едва не захватив в плен. Бросив все, он спасся бегством и на несколько месяцев исчез с политической арены, укрывшись в одном горном монастыре. По счастью для черногорцев, турки не смогли развить достигнутого успеха. С конца сентября хлынули проливные дожди, особенно опасные в горах. К тому же подстрекаемая австрийским и французским

правительствами Османская империя объявила 6 октября войну России. Борьба на два фронта Порты не могла и вывела свои войска из Черногории.

Неожиданная передышка позволила правителю укрепить свой пошатнувшийся авторитет. Это было тем более кстати, что Савва вновь повел против него кампанию, сумев настроить в свою пользу часть старшин и духовенства. Но здесь на общественно-политическом горизонте возникла фигура Арсения, избранного как бы в «помощь» Савве и даже по его просьбе. Впрочем, и причины появления второго митрополита, и его политическая ориентация во многом не ясны. Позднее русский дипломат С. А. Санковский, посетивший Черногорию в 1805 г. и общавшийся с племянником и преемником Саввы митрополитом Петром I Негошем, со всей определенностью заявлял, что фактически инициатором избрания Арсения была Венеция, стоявшая за спиной Саввы. Этим путем противники Степана Малого рассчитывали разобщить черногорцев. Но, как бы то ни было, Арсений состоял в дружеских связях с Тановичем, наиболее преданным Степану человеком и его великим канцлером. Он оказался своевременным и полезным союзником.

В условиях начавшейся русско-турецкой войны 1768—1774 гг. поддержка со стороны угнетенных османами балканских народов приобретала для России важное значение. От имени Екатерины II 19 января 1769 г. был опубликован манифест, обращенный ко всем славянским народам и христианам европейских владений Турции. В манифесте напоминалось о славном прошлом этих народов, подпавших под иноземное иго, и содержался призыв «полезными для них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться ко свержению ига и ко приведению себя по прежнему в независимость, ополчаясь, где и когда будет удобно против общего всего христианства врага и стараясь возможный вред ему причинить» [106, т. 87, с. 322—326]. Призыв совместно выступить против Османской империи содержался и в специальной грамоте Екатерины II к балканским народам от 29 января. Эти документы, независимо от целей, которые ставила императрица, отразили объективно освободительную миссию России на Балканах.

Возлагая определенные надежды на симпатии местного православного населения, Екатерина по-прежнему была озабочена влиянием на черногорцев Степана Малого в роли «Петра III». Ввиду провала миссии Мерка в Петербурге возник план послать в Черногорию для устранения нежелательного конкурента участника Семилетней войны, генерала от инфантерии Ю. В. Долгорукова. В сопровождении поенного эскорта из 26 человек он высадился 12 августа 1769 г. на адриатическом берегу, поднялся в горы и около монастыря Брчели был встречен духовенством. Спустя несколько дней в Цетиньи собралась скупщина, в присутствии двух тысяч черногорцев, губернатора, старейшин и церковных властей Долгоруков обвинил Степана Малого в самозванчестве, огласил манифест 19 января 1769 г. и потребовал от присутствовавших принести присягу на верность Екатерине II, что и было учинено. Долгорукова поддержал прежний союзник Степана сербский патриарх Василий, объявивший его «возмутителем покоя и злодеем нации».

Все это происходило в отсутствие Степана Малого. Те дни, что прошли с момента прибытия Долгорукова, он использовал для объезда страны и агитации в народе в свою пользу. И когда на следующий день после скупщины он прибыл в Цетинье, то был с ликованием встречен народом. Однако Долгорукову удалось сделать то, на что так рассчитывала Екатерина: не только настроить против правителя присутствующих, но обезоружить и арестовать его. Однако торжество противников Степана было непродолжительным. Как справедливо указывал М. М. Фрейденберг, полное непонимание обстановки в стране, крепостнические замашки и нежелание считаться с обычаями свободолюбивого народа очень скоро привели Долгорукова не просто к изоляции, но вызвали к нему вражду со стороны населения. Против него выступил — возможно, не без подстрекательства Венеции — и митрополит Савва, тем самым неожиданно оказавшийся объективно союзником правителя. Хотя Степан Малый продолжал содержаться под арестом,

Долгоруков неоднократно виделся и беседовал с ним. Постепенно русский посланник не только увидел, насколько широкой народной поддержкой пользуется Степан Малый, но и понял, что никакой опасности для правительства Екатерины он не представляет. Поэтому Долгоруков снабдил его боеприпасами и, заручившись от него обещанием лояльности, покинул 24 октября Черногорию, подарив на память русский офицерский мундир и, как говорят, даже обнявшись при прощании.

Отныне Степан становится признанным правителем страны, осененным авторитетом русского дипломата. Но переменчивая судьба снова готовила ему тяжкий удар. Во время прокладки осенью 1770 г. горной дороги он получил серьезное ранение, в результате чего ослеп. Хотя большая часть приближенных покинула его, с ним остались Танович и митрополит Арсений. Помещенный в монастырь Брчели, Степан Малый, и ослепнув, продолжал оттуда управлять страной. За выполнением его предписаний следил созданный в 1772 г. вооруженный отряд во главе с С. Баряктаровичем, ранее состоявшим на русской службе.

Но годы, отпущенные черногорскому «Петру III», были па исходе. Османские правящие круги, особенно во время войны с Россией, не могли примириться с самим фактом существования черногорского правителя, которого народ считал русским императором Петром III. И то, чего они не смогли добиться с помощью солдат и пушек, сделала рука наемного убийцы. Нанятый и подосланный скадарским пашой в качестве слуги к Степану Малому и сумевший войти к нему в доверие, грек Станко Класомунья заколол его ножом. Случилось это в 1773 г. — по одним данным в августе, по другим — в октябре.

«Не знаю и сейчас, кто он и откуда», — так писал митрополит Савва, признавая свою полнейшую неспособность противостоять популярности «Петра III» — Степана Малого и удивляясь, «чем привлек к себе?» [28, с. 92]. И в самом деле, кто же он, этот неведомый пришелец, который внезапно объявился в черногорской среде и навсегда оставил здесь память о себе? Этот не проясненный до сих пор вопрос занимает вот уже не одно поколение исследователей, обращающихся к истории того времени. Собственно, интересовало это уже современников, среди которых нужно прежде всего назвать российскую императрицу — о причине ее повышенного интереса к личности Степана Малого не нужно, по-видимому, распространяться, тень свергнутого ею мужа преследовала Екатерину до конца ее царствования.

Снаряжая Г. А. Мерка, она дала ему подробные инструкции, в третьем пункте которых указывалось: «В бытность вашу в тамошнем краю рекомендуется вам разведать со всевозможною достоверностию о состоянии и похождениях самозванца, дабы здесь обо всем подробно знать, наипаче, кто он таков родом и званием, откуда и как приехал в Черную Гору, один ли или же в каком обществе, имеет ли деньги или нет, как он от народа принят был и каким образом мог набрать себе шайку, одним ли о себе удостоверением в имени и персоне имп. Петра III или же паче склонностью черногорцев к грабежам и надеждою предводительствовать им к оным, велика ли партия его и из каких она состоит людей?» [106, т. 87, с. 53]. Ни на один из этих вопросов «претонкий политик», как мы знаем, ответа не дал. И оставаясь открытыми, вопросы эти вызывали у современников неослабевающий интерес. Тем более, что сам Степан Малый тщательно скрывал свое происхождение, возраст и семейные связи, сообщая на этот счет разноречивые сведения.

Из сводки его высказываний, составленной А. П. Бажовой [28, с. 93], видно, что Степан Малый называл себя то далматинцем, то черногорцем, то «дезертиром из Лики», а иногда и просто говорил, что пришел из Герцеговины или из Австрии. Патриарху Василию Бркичу местом своего происхождения Степан Малый называл Требинье, «лежащее на востоке», а Ю. В. Долгорукову предложил даже три версии о себе: Раичевич из Далмации, турецкий подданный из Боснии и, наконец, уроженец Янины. Часто он давал понять, что зовут его не Степан — в беседе с М. А. Бубичем, например, он отмечал,



что во время странствий по Османской империи, Австрии и другим странам ему часто приходилось менять свои имена.

Не менее противоречиво и чисто внешнее впечатление, которое производил Степан Малый на собеседников. Если исключить крайние оценки, то в описаниях его внешности обнаруживаются некоторые общие черты. Это был сухощавый человек чуть выше среднего роста, около 30 лет. У него было продолговатое лицо со следами оспы, широкий лоб, удлинённый нос и небольшой рот с несколько отвисшей и мясистой нижней губой, тонкий, женоподобный голос. Русые с каштановым отливом волосы резко контрастировали с черными усами, густыми дугообразными бровями и блестящими глазами. Охотнее всего он одевался по-турецки (или по-албански), но нередко появлялся и в так называемой немецкой одежде.

Наконец, не меньшие расхождения существуют в показаниях свидетелей относительно языков, которыми владел Степан Малый. Если все сходится на том, что сербохорватский язык он знал, то в отношении других языков крайности в суждениях поразительны. С одной стороны, например, монах Софроний Плевкович утверждал, что самозванец владел итальянским, турецким, немецким, французским, английским, греческими даже арабским языками. Наоборот, митрополит Савва заявлял, будто бы Степан Малый этими языками не только не владел, но и вообще был неграмотным. Если отвлечься от столь полярных оценок, то наиболее правдоподобной представляется информация, которую мы находим в материалах Реньера и Аввакума. Из нее вытекает, что Степан Малый хорошо говорил по-сербохорватски, в разной мере владея, кроме того, немецким, французским, итальянским, турецким и, быть может, русским языками. В итоге, сохранившиеся в свидетельствах современников и очевидцев противоречия, расхождения и недомолвки породили ряд гипотез о происхождении Степана Малого.

Вот, например, как трактуется этот загадочный вопрос в четвертом явлении четвертого действия пьесы «Самозванный царь Степан Малый» черногорского правителя и выдающегося югославского поэта Петра II Негоша. Самозванец схвачен черногорцами по приказу Ю. В. Долгорукова, который в «повелительном тоне» требует от Степана открыться: «откуда ты родом?». Тот, «в замешательстве, после долгого молчания», как сказано в ремарке, называет себя греком из Янины. Но выясняется, что греческого языка он не знает. «Откуда ты родом», — повторяет Долгоруков. И тогда Степан Малый («с рыданием») отвечает:

Я на самом деле далматинец,  
из семьи прозваньем Раичевич;  
И коль это истиной не будет,  
жизнь мне не мила, камнями забросайте.

Конечно, эта пьеса, написанная в 1851 г., — художественное произведение. Но ведь Петр II Негош принадлежал к династии черногорских митрополитов Петровичей. И, возможно, при создании образа Степана Малого пользовался преданиями, сохранявшимися в его семье и вообще в черногорской среде. Поэтому предложенный в пьесе ответ можно считать одной из возможных версий о происхождении Степана Малого.

В недавнее время А. П. Бажова выдвинула интересную гипотезу, что под именем Степана Малого выступал черногорец Степан Петрович, майор русской службы, с 1747 по 1759 г. находившийся в России. Помимо некоторых хронологических совпадений в биографии Петровича с тем, что известно о черногорском «Петре III», А. П. Бажова приводит еще два общих соображения. С одной стороны, Степан Малый хорошо знал обычаи черногорцев и был принят там как свой, хотя «смотрел на действительность несколько отстраненно, как будто долго не жил на родине». С другой стороны, «он был осведомлен о положении дел в России» [28, с. 97—98]. Разумеется, версия эта, заслуживающая внимания и проверки, так же имеет право на существование. Однако как раз черногорское

происхождение Степана Малого—Петровича представляется ее наиболее уязвимой частью. Обычно самозванцы, опасаясь возможного разоблачения, являлись как бы «со стороны». И та «отстраненность» Степана Малого, о которой пишет А. П. Бажова и которая действительно имела место, подтверждает это.

Попробуем, однако, взглянуть на все это с несколько иных позиций. Нельзя ли как-то сузить, локализовать достаточно пестрые суждения современников о Степане Малом? По религиозной принадлежности он был православным, по роду занятий до «объявления» — батраком и народным врачом. Носил он в Черногории преимущественно «турецкий» или «албанский» костюм. Словом, это был человек распространенного на Балканах типа. Да и значительная часть названных им мест, откуда он якобы происходил или, во всяком случае, прибыл в Черногорию, связана с западной частью Балканского полуострова. При этом на остальных языках, кроме сербохорватского, он говорил, пусть «с легкостью и большим изяществом», но все же как иностранец [82, с. 18]. Правда, некоторое недоумение может вызвать содержащееся в бумагах А. Реньера указание, что по-сербохорватски он говорил «с боснийским акцентом» [77, т. 82, с. 7]: славяне Боснии и Герцеговины, как и черногорцы, употребляли так называемое (и)екавское произношение, и, стало быть, каких-то существенных различий на слух в говоре тех и других не было. Стоит, впрочем, заметить, что агент А. Реньера видел и слышал Степана Малого не во внутренней Черногории, а в Майне. Стало быть, он либо не очень хорошо разбирался в диалектных различиях, либо просто хотел подчеркнуть, что речь Степана Малого чем-то отличалась от говора населения Далмации. Последнее кажется наиболее вероятным. У А. И. Яцимирского приведены сведения другого агента венецианцев, который приписывал Степану Малому немецкий или русский акцент. Такое впечатление могло отвечать истине, но могло возникнуть и под гипнозом слухов о нем как о Петре III. Так намечается своеобразная анкета Степана Малого: православный, знает сельский труд, носит местную одежду, основной язык — сербохорватский. Где на Балканах скорее всего встречалось одновременное сочетание подобных признаков? Скорее всего у славянского населения Боснии и Герцеговины, где многие мусульманские обычаи и одежду усвоили не только перешедшие в ислам, но и сохранившие верность православию. Но был ли он только выходцем отсюда или же и уроженцем этих мест? Понятно, что это не одно и то же. Поэтому сомнения остаются, открывая простор для дальнейших догадок. Например, Степан Малый мог, как думал Петр II Негош, происходить из рода Раичевичей в Далмации. По с таким же основанием можно предположить, что он родился и в другом месте, причем не обязательно даже на Балканах. Ведь он был странником, «побродягой»! А их в ту пору было немало, особенно среди православного духовенства. Например, в 1760 г. в Ригу прибыл афонский архимандрит Паисий, добивавшийся разрешения следовать далее в Петербург. Ввиду «сумнительства» с его паспортом, он был задержан царскими властями и подвергнут допросу. Выяснилось, что Паисий был уроженцем «полской области местечка Городенка». Там он жил с отцом, а по достижении 13 лет был пострижен в монахи и произведен затем в дьяконы. Проведя дома пять лет, он отправился в Константинополь, потом на Синай и, наконец, на Афон, где и обосновался. Оттуда Паисий и был «отправлен для некоторых потреб в Российское государство» [22, оп. 41, № 194, л. 9]. И по многомерности своих скитаний Паисий едва ли многим отличался от Степана Малого.

Материалы, которыми биографы Степана Малого в настоящее время располагают, не позволяют окончательно определить место его рождения. В социальном отношении он, по-видимому, происходил из непривилегированной (скорее всего — крестьянской) среды. Небезынтересно, что Екатерина II, опасавшаяся возможного приезда Степана в Россию, рескриптом 14 марта 1768 г. предписала при въезде иностранцев в пределы империи подвергать тщательному допросу «особливо мелкого состояния людей» [106, т. 87, с. 49—50]. Вероятно, что он какое-то время был церковным или монастырским служкой, даже монахом. В сочетании с привычкой к крестьянскому труду это наложило отпечаток на его

поведение. На многих очевидцев Степан Малый по внешнему виду и манере держаться производил впечатление духовного лица. Не исключено, что семья Степана Малого была иноверной (мусульманской, католической и т. п.) и в православие он перешел сознательно, порвав с родней. Это и могло стать одной из причин его последующего одиночества, скитальческого образа жизни.

Где успел побывать Степан Малый до тех пор, пока не стал «царем», сказать еще труднее. Возможно, что среди стран, куда его забрасывала судьба, была и Россия. Со всей убежденностью об этом писал в свое время еще В. В. Макушев [77, т. 83, с. 14, 34]. Помимо неоднократно отмеченной в литературе осведомленности Степана в русских делах, на эту мысль наводит и другое: с людьми, побывавшими в России, он вел себя осторожно, так сказать, выборочно. С одними общался и до последних дней жизни был связан, других сторонился. Так, будучи в Манне, он, по наблюдению одного из венецианских агентов, избегал встреч с архимандритом Никодимом Резевичем, дважды ездившим в Петербург. Помимо опасений, что такие люди видели настоящего Петра III или знали о его смерти, для осмотрительности у Степана Малого могли существовать и другие основания. В этой связи заслуживает упоминания любопытное письмо Екатерины II, направленное 6 мая 1769 г. А. Г. Орлову. Ссылаясь на свидетельство генерал-майора русской службы И. М. Подгоричанина, черногорца по происхождению, императрица писала, что «Степан Малый тот самый итальянец Вандини, который в канцелярии опекуна здесь дело имел и, обманув здесь, выманя алмазы у греческого купца и заложа оные, денег взял и сам ускакал». И далее: «Подгоричанин говорит, что описание фигуры и лица одного и другого совсем сходны, а только Вандини не был ряб, а другой ряб, и к Подгоричаниным писано, что, приехав в Черногорию, Степан в оспе лежал, и так ряб ныне, хотя в Петербурге не был таков» [106, т. 1, с. 16; 132, с. 176]. Еще одна версия относительно личности черногорского правителя? Хотя Екатерине II она и показалась «не без основания», догадка Подгоричанина маловероятна. Не говоря уже о чисто внешнем совпадении, да и то весьма шатком (следы оспы на лице Степана Малого и Вандини), едва ли плут-итальянец владел сербохорватским языком, даже с «боснийским акцентом». Да и последовавшие в начале 1770-х гг. контакты со Степаном Малым А. Г. Орлова не подкрепляли гипотезы Подгоричанина и Екатерины II.

Если сформулированные нами выше соображения о личности Степана Малого справедливы, то в Россию он, вероятнее всего, попал в составе свиты одного из представителей южнославянского православного духовенства — то ли из Австрийской монархии, то ли с Балкан. Такие поездки в XVIII в. были нередки и предпринимались для получения в России богослужебных книг, церковной утвари и денежных субсидий от правительства, а также для сбора подаяний среди местного населения и т. п. Только в одном 1764 г., например, Россию посетили: «из цесарской области» иеромонах Георгиевского монастыря в Темиш-варском Банате Парфений (для «поклонения святым мощам»), сербский епископ Арсений Радивоевич с двумя архиереями (для получения богослужебных книг) и иеромонах Евфимий «греческой нации македонской провинции города Янина монастыря рождества пресвятая богородицы» со служителем для сбора милостыни в течение двух лет [22, оп. 45, № 368, л. 1; № 319; № 383, л. 1] и др. Имена спутников православных иерархов, в особенности мелких служек, в делах Синода фиксировались далеко не всегда. В числе таких-то незаметных спутников и мог находиться Степан Малый, носивший, разумеется, какое-либо иное имя,

### **Черногорская легенда в горниле жизни**

Действия Степана Малого в 1766—1773 гг. демонстрируют любопытный и по своей продолжительности уникальный пример успешного сосуществования легенды и реальности. И не просто сосуществования, но тесного переплетения и своеобразной взаимной корректировки. Легенда работала на ее носителя, но и он работал на легенду,

нуждавшуюся в постоянном подтверждении, а стало быть — в развитии и обогащении. В роли экзаменатора выступала жизнь, повседневная практика.

Уже в конце 1767 г., вскоре после его признания «Петром III», Степан Малый в качестве правителя Черногории предпринял ряд важных дипломатических шагов. В особенности он стремился установить контакты с официальными представителями России. С этой целью он направил к русскому посланнику в Вене Д. М. Голицыну трех эмиссаров. Два первых выехали соответственно 2 и 22 декабря, и третий — 14 января следующего, 1768 г. Не исключено, что слухи об этом разнеслись в местной среде и легли в основу упоминавшейся выше записи в хронике Раваницкого монастыря от 22 декабря 1767 г. о том, что государь Петр Федорович «объявился» в Черногории «своим ручным писанием».

Эти события застали Екатерину II врасплох. С одной стороны, в преддверии предстоящей войны с Турцией, она была заинтересована в поддержке со стороны черногорцев, издавна питавших дружеские чувства в России. С другой — признание ими Степана Малого «царем Петром III» по понятным причинам было неприемлемо для императрицы. На первых порах она делала вид, будто бы ничего не произошло. Эта страусовая политика продолжалась несколько месяцев. Еще 31 января 1768 г., как раз в то время, когда эмиссары из Черногории безуспешно ожидали приема у Д. М. Голицына в Вене, Н. И. Панин, ведавший внешнеполитическими делами, в письме А. Обрескову в Константинополь презрительно именовал Степана «побродягой», «самозванцем» и «чучалой». «Но как сия чучала ни малейшего уважения никогда заслужить не может, — заявлял он, — то мы здесь и положили на глупые подвиги оной с крайним презрением и без малейшего восчувствования и смотреть». Об этой позиции он просил уведомить и правительство Венеции [106, т. 87, с. 27].

Молчала Екатерина II, молчал и ее посол в Вене. Однако Степан Малый настойчиво добивался ответа. По его поручению архимандрит Григорий Дрекалович продолжал письменно обращаться к Д. М. Голицыну. В послании к нему 25 февраля 1768 г. из Землина он с горечью напоминал, что предшествующие четыре письма остались без «резюмации» добавлял: «Зная, что сие вам, государь наш, противно, однако ж великая нужда привела нас сюда, о которой обстоятельно объявить не можно, пока я туда (т. е. в Вену. — А. М.) не прибуду, а Малый Степан, который нас к вашему сиятельству послал, желает скорого ответа» [12, ч. 1, л. 22].

Поскольку в такой обстановке поза презрительного молчания успеха не сулила, Екатерина II была вынуждена вскоре изменить тактику. Новый план сводился к тому, чтобы сделать все возможное для привлечения Черногории на сторону императрицы при одновременном публичном разоблачении Степана Малого, его изоляции и аресте. Датой, когда этот план получил официальное закрепление, можно считать 14 марта 1768 г. В этот день были подписаны рескрипты на имя посла в Вене Д. М. Голицына, а также губернаторов пограничных территорий и обнародовано воззвание к черногорскому народу.

В рескрипте Д. М. Голицыну Степан Малый оценивался как самозванец, который, вопреки ожиданиям, «предуспел в коварстве своем уловить часть черногорского народа потому одному, что оной погружен во тьме глубочайшего невежества» [106, т. 87, с. 51—52]. Для выяснения обстановки на месте и «спасения черногорского издревле к империи нашей по единоверию ласкающегося народа от неминуемой гибели со стороны соседних держав» Екатерина и распорядилась направить в Черногорию миссию во главе с Г. А. Мерком.

Екатерину II, не имевшую достоверной информации о событиях в Черногории, пугало несколько обстоятельств. Во-первых, она допускала мысль, что нити от Степана Малого могли тянуться в Россию, к тем кругам — она не знала, к каким именно, — которые враждебны ей и хотели бы возвести на престол отнюдь не кадавр Петра Федоровича, а живого, приближавшегося к своему совершеннолетию и стремившегося к власти Павла. Во-вторых, ввиду распространившихся в народной среде толков о чудесном

спасении Петра III и появления под этим именем нескольких самозванцев Екатерина считала нежелательным проникновение слухов о черногорском правителе в пределы империи. По этим двум соображениям, наконец, она опасалась появления в России эмиссаров Степана Малого.

Надо сказать, что некоторые основания для беспокойства были. Незадолго до появления документов 14 марта 1768 г. из Вены поступило донесение, написанное со слов греческого купца Михаила Зубана, через которого пришло одно из писем Г. Дрекаловича. После изложения обстоятельств получения письма в донесении сообщалось: «Тот же архимандрит публично рассказывал, что российский император Петр III был в Черной Горе, но уже оттуда поехал в Россию, что он с ним вместе обедал и что истина сего дела чрез 15 дней откроется» [12, ч. 1, л. 21]. Этот ложный и фантастический слух произвел, по-видимому, в Петербурге впечатление разорвавшейся бомбы. Об этом со всей очевидностью свидетельствовал циркулярный рескрипт от 14 марта 1768 г., разосланный пограничным губернаторам в Киев, Новороссию, Глухов, Смоленск, Ригу, Ревель и Выборг. В нем предписывалось принять самые строгие меры по проверке личности иностранцев, поскольку возможно, что от Степана Малого будут посланы эмиссары, «а может быть покусится он и сам в границы наши въехать» [106, т. 87, с. 49—50]. И как бы в подтверждение таких опасений киевский генерал-губернатор Ф. М. Воейков направил Екатерине II 25 сентября того же года тревожную реляцию. Он сообщал о задержании бывшего игумена Хилендарского монастыря на Афоне Софония Плевковича: будучи послан Степаном Малым в Вену, он «тайно под именем купца в границу вашего императорского величества вошел» [17, л. 11], в Петербурге этому придали настолько серьезное значение, что 14 октября о киевском случае Н. И. Панин счел нужным известить Д. М. Голицына.

В санкционированном Екатериной II 14 марта 1768 г. воззвании к «благородным и почтенным господам Сербския земли в Македонии и Скандарии, Черной Горе и Приморий монтенегринского народа губернаторам, воеводам, князьям и капитанам, також и иным духовным и мирским чиновачальникам» [106, т. 87, с. 54—56] была предпринята очередная попытка не только дискредитировать самого Степана, но и внести социальный раскол в ряды его сторонников. Вновь подтвердив, что Петр III давно умер, воззвание аттестовало Степана Малого как самозванца, который нашел «последователей между чернью и подлостью, которая может быть из простоты, а может быть и из намерения пользоваться сей чучелою для грабительства, к нему пристала и еще пристанет». Призыв не верить правителю и схватить его как обманщика заключался прямой угрозой лишить Черногорию в противном случае «высочайшего нашего покровительства», прекратить оказание денежной помощи духовенству и принять другие меры. Это воззвание и должен был вручить черногорской светской и церковной верхушке Г. А. Мерк, которому на сей счет были даны подробные инструкции.

Тем временем Г. Дрекалович продолжал свои усилия: к середине марта он успел послать в Вену уже семь писем. Поскольку теперь поведение царских властей определилось, молчание, наконец, было прервано. По поручению Д. М. Голицына советник посольства Г. Полетика направил 25 марта архимандриту официальный ответ. Он извещал, что посольство готово принять «негласные и тайне подлежащие письма», но только от имени «властей черногорских» [12, ч. 2, л. 14]. Что же касается контактов со Степаном Малым, то, как висел Г. Полетика, Д. М. Голицын с ним «яко с негодными общего презрения достойным человеком никакого дела иметь не может, да и слышать о нем не желает, и что он за плутовство и самозванство свое заслуживает бесчестной казни». Сам же Дрекалович и его спутники были определены либо как простаки, поверившие «безумному и неистовому обманщику», либо как его сообщники, действующие «с хитрым умыслом». Несмотря на столь резкий и не оставляющий сомнений тон ответа, попытки посылки эмиссаров продолжались и далее. Петербургская дипломатия не могла не считаться с этим и стала проявлять большую гибкость. Так, в

шифровке от 4 апреля 1768 г. по поводу «вымышленного и странного посольства от известного бродяги в Черной Горе» вице-канцлер А. М. Голицын поручал русскому послу: никакой «протекции» посланцам-монахам не давать, но информировать «из любопытства услышав, какое имеют сии монахи к вам и ко двору здешнему упоминаемое ими тайное слово» [106, т. 87, с. 79]. Особый интерес также вызвала поездка в Вену архимандрита Аввакума летом того же года. Он был не только принят, но и подробно выспрашиваем о положении в стране и о личности Степана Малого. Между прочим, Аввакум сообщил, что Степан Малый послал также письмо императору Иосифу II, о содержании которого Аввакум, однако, ничего не знал [12, № 16, ч. 1, 1768 г., л. 4].

Лихорадочные акции Екатерины в 1768—1769 гг. против Степана Малого успехом не увенчались. А итоги миссии Ю. В. Долгорукова вообще перечеркнули надежды, которые императрица на это возлагала. По справедливому замечанию А. П. Бажовой, «не считаясь с угрозами Екатерины II в адрес Степана Малого, Долгорукий, реально оценив обстановку, передал ему всю полноту власти от имени русского правительства, понимая, что только Степану Малому, опиравшемуся на авторитет России, могут подчиниться вооруженные, воинственно настроенные черногорцы [28, с. 89]. И как раз в этом наглядно проявилась жизненная сила черногорских симпатий к России. Со всей определенностью местная скупщина весной 1770 г. заявляла венецианскому дожу: «Знаешь ли ты, господине, что мы и посейчас российские? Кто стоит против нас, стоит против России. Кто стоит против России, стоит против нас» [119, с. 128].

В последние годы жизни Степану Малому удалось осуществить то, к чему он, вопреки противодействию Екатерины II, стремился с самого начала — установить деловое сотрудничество с русскими властями. На практике это означало фактическое признание его в качестве правителя Черногории. И вот такое ироничное стечение обстоятельств: Степан Малый-«Петр III» вступил в контакт с командующим русской военно-морской эскадрой в Средиземном море А. Г. Орловым — тем самым, который убил в Ропше настоящего Петра III. Один из ближайших соратников правителя Ф. Мркевич становится представителем Черногории в России, а другой — Г. Дрекалович по поручению командующего первой русской армии П. А. Румянцева, в прошлом — преданного полководца покойного императора, в 1771 г. вел антиосманскую агитацию среди балканских народов [96, с. 299]. Так черногорский вариант легенды о «третьем императоре», вступив в соприкосновение с жизнью, устоял, получив дальнейшее развитие в контексте югославяно-русских связей. И это было закономерно, ибо за вехами жизни Степана Малого в 1767—1773 гг. стоял исполненный важными событиями и сжатый до семи лет период в истории этого народа.

Проживая еще в доме В. Марковича, особенно после признания его «царем», когда к нему со всех сторон стекался народ, а затем и после переезда в Черногорию Степан Малый неустанно призывал народ к примирению и отказу от наиболее крайних проявлений родо-племенной вражды. Этот призыв — составная часть более широкой программы, которую глубоко продумал Степан Малый на своем пути к осуществлению собственного варианта легенды о Петре III. Но одновременно он намекал и на свою связь с сербской династией Неманичей, основателем которой в XII в. был великий жупан Стефан Неманя. С именем этой династии у югославян были сопряжены воспоминания о сильном средневековом Сербском государстве, уничтоженном османами. О наличии такой связи должно было, по-видимому, свидетельствовать и имя, принятое черногорским правителем. Любопытно, что в упоминавшейся приписке к письму Саввы 12 октября 1767 г. А. М. Обрескову он называл себя не «Степан», а «Стефан».

Однако едва ли справедливо приписывать на основании этого Степану Малому далеко идущие планы восстановления Сербского государства, изгнания турецких захватчиков с Балкан и даже стремление «сделаться всеславянским царем» [77; 82; 86]. Никаких серьезных оснований, кроме домыслов и предположений, для подобных утверждений нет. Тем более, что Степан Малый, даже пожелай он того, не располагал

ни достаточной военной силой, ни необходимыми денежными средствами. Поле деятельности Степана Малого ограничивалось собственно Черногорией, где уже с конца 1767 г. он приступил к важным преобразованиям.

Характеризуя предпринятые им шаги, М. М. Фрейденберг справедливо отмечал: «Он не увлекался военными предприятиями, не стал разыгрывать и роль самодержца, ограничившись тем, что приказал намалевать двуглавого орла на стене своей комнаты. Он энергично занялся созданием в Черногории неплеменной системы управления, построенной по государственному образцу. В этом деле он обнаружил энергию, дальновидность и трезвый политический расчет. Он начал с попытки искоренения всех и всяческих распрей — от счетов, сводимых в порядке кровной мести, до межплеменных войн. Вечный мир — вот его первое требование» [119, с. 121].

В самом деле, меры, которые частью осуществил, а частью лишь успел наметить Степан Малый, касались буквально всех сторон жизни черногорцев. В стране, где сложился теократический режим, Степан Малый специальной грамотой объявил 4 (15) мая 1768 г. об отделении государственной власти от власти церковной. Этим он не только нанес чувствительный удар по кругам, выразителем которых выступал Савва (и стоявшая за ним Венеция), но и упрочил собственные позиции правителя-«государя».

В стране, население которой было почти поголовно неграмотным, Степан Малый задумал создать нечто вроде общечерногорского свода законов. Он, в частности, установил строгие наказания за убийство, воровство и угон чужого скота, за умыкание женщин и двоеженство. Для рассмотрения спорных дел и вынесения приговоров был восстановлен существовавший при Даниле и Василии суд. Первые приговоры, в том числе смертные за братоубийство, согласно новым положениям, были публично вынесены в мае 1768 г. Позднее за выполнением приговоров стал следить отряд С. Баряктаровича. Строгие меры правителя произвели сильное впечатление, и молва о них бытовала в народе долгое время. Известный русский дипломат и путешественник Е. П. Ковалевский, посетивший Черногорию в 1841 г., записал рассказ некоего Радована об этом: «Стефан был строг до крайности, но справедлив; черногорцы терпели его и чтили в нем русского царя, которому дали у себя приют и власть. Раз он вздумал испытать честность своего народа самым странным образом: на распутье, между Цетином и Катаром наиболее посещаемом черногорцами, положил он несколько червонцев — и золото осталось нетронутым несколько месяцев, пока он не взял его обратно» [62, с. 46].

Степан Малый осуждал и стремился пресекать грабительские набеги горцев на соседние владения Турции и Венеции, добиваясь нормализации отношений с ними. Тем самым он де-факто определил границы Черногории, что имело принципиальное значение в борьбе против иноземных, в первую очередь османских, угнетателей. Одновременно, для обеспечения обороны страны он приступил к созданию обученной регулярной армии и даже ввел совершенно непривычные для черногорцев физические наказания за нарушение воинской дисциплины; в разных местах страны и на горных перевалах были поставлены караульные посты.

Ряд мер Степана Малого был направлен на обеспечение более благоприятных условий для экономического и культурного развития страны. Так, он начал прокладывать пути сообщения и задумал провести перепись населения — первое и беспрецедентное дело такого рода, осуществленное, правда, уже после его смерти, в 1776 г. Большой заслугой Степана Малого явилось открытие в Петровце первой черногорской школы, в которой монах Елисей «обучал детей веронауке и русскому языку» [28, с. 396]. Обучение детей русскому языку явилось лишь одним, хотя и чрезвычайно характерным, проявлением важнейшего и до конца еще не изученного аспекта политики Степана Малого — стремления укрепить черногорско-русские связи. Здесь со всей наглядностью проявились различия между официальной позицией Екатерины II и народными представлениями о России как братской и дружественной стране.

Кем бы ни был Степан Малый, нет нужды именовать его, подобно Екатерине II и ее окружению, «злодеем» и «чучалой», ни, наоборот, идеализировать, изображая неким романтическим героем-одиночкой. Замышляя и проводя преобразования в Черногории и упорно добиваясь укрепления контактов с Россией, он выступал, конечно, не в социальном вакууме.

Другое дело, что вопрос о социальной опоре Степана Малого сложен и недостаточно прояснен. В советской и югославской литературе высказывалось мнение, что он опирался преимущественно на «местное духовенство, особенно монашество» [119, с. 130]. Действительно, никакой другой слой черногорского общества того времени не мог возвыситься до Понимания общечерногорских интересов, кроме духовенства. К тому же, по давнему соглашению с Портой, именно православная церковь обладала не только собственно конфессиональными, но также административно-политическими и судебными правами на своей территории.

Многое в этих наблюдениях справедливо, но многое, на наш взгляд, требует корректировки. Постоянное употребление Степаном Малым христианской образности свидетельствовало не столько о его связях с духовенством, сколько об умении говорить с народом на привычном ему языке. Нельзя также забывать, что позиция православного духовенства отнюдь не была единой. Достаточно напомнить хотя бы об интригах связанного с Венецией митрополита Саввы или о враждебной позиции, которую занял по отношению к Степану сербский патриарх Василий во время прибытия миссии Ю. В. Долгорукова. В советской историографии уже отмечалось, что в церковно-монашеской среде Степана Малого «поддерживали сторонники умершего в России владыки Василия» [57, с. 222]. В этой связи уместно обратить внимание на наблюдения прогрессивного русского историка и этнографа XIX в. П. А. Ровинского, долгое время жившего в Черногории. В первом томе своего капитального труда «Черногория в ее прошлом и настоящем» (1888), на который ссылается и М. М. Фрейденберг, П. А. Ровинский «творцами и дирижерами» политики Степана Малого называл не только духовенство, но и «знатных главарей», т. е. племенных старшин [119, с. 130]. Несмотря на излишнюю категоричность, справедливо отвергаемую М. М. Фрейденбергом (например, П. А. Ровинский называл Степана Малого «вышколенным» актером этого «комплота»), его упоминание о «знатных главарях» заставляет задуматься. Их эволюция в направлении конституирования господствующего слоя общества (наряду с православной церковью как крупным собственником) сомнений как будто бы не вызывает. И полное осуществление замыслов Степана Малого, проживи он дольше, отвечало бы в конечном счете интересам этих кругов в первую очередь.

Но вместе с тем реформаторская деятельность Степана Малого была направлена на решение назревших задач дальнейшего социально-экономического, политического и культурного развития черногорского общества. Она способствовала не только государственно-правовой консолидации Черногории, но и подъему народно-освободительного движения, т. е. имела прогрессивный, общедемократический характер. Все это привлекало к Степану Малому и его сторонникам симпатии народных масс, обуславливало достаточно широкую и прочную поддержку и позволяло правителю выходить победителем из самых трудных и порой казавшихся безнадежными ситуаций. И свою роль играла в этом легенда, в рамках которой он выступал.

В ее русских истоках сомневаться не приходится. Но кто же был создателем черногорского варианта легенды о Петре III? Однозначно ответить на поставленный вопрос нельзя, ибо черногорский вариант легенды был актом коллективного творчества, протекавшего на подготовленной для него почве. Ею были традиционные и постоянно обновлявшиеся народные черногорско-русские связи. Примечательно, что на гневный окрик Ю. В. Долгорукова — почему черногорский правитель присвоил себе имя покойного русского императора — Степан Малый отвечал, что «сами черногорцы выдумали это, но он их не разубеждал только потому, что иначе не имел бы возможности соединить



под своей властью столько войска против турок» [130, с. 543]. В справедливости этих слов Долгорукову вскоре пришлось убедиться. Характерно, что в одном из писем на имя Д. М. Голицына посланец Степана архимандрит Г. Дрекалович в 1768 г. просил «скорой милостивой резолюции, ибо мы ни под какой другой протекцией не состоим, кроме российской» [12, № 16, ч. 2, 1768 г., л. 12 об.]. И это было не мнение одиночки, а тем более не проявление дипломатической вежливости, а всеобщее убеждение. Тесные исторические и культурные узы, связывающие Черногорию с Россией, отмечены и в уже упоминавшемся ответе того же 1768 г. черногорской скупщины венецианцу А. Реньеру. «Если богу будет угодно, чтобы все мы умерли, — говорилось здесь, — то и тогда ми не можем отступить от Московского царства, пока хоть один из нас останется в живых» [77, т. 83, с. 9]. И в 1775 г., т. е. спустя два года после гибели Степана Малого, черногорские старшины с горечью заявляли Екатерине II, что надеялись на помощь России в борьбе с османами, а «генерал Долгорук тайком уехал от нас» [119, с. 128].

Степан Малый стремился использовать для упрочения своих позиций глубокую веру черногорцев в освободительную миссию России. Еще до своего официального признания в Черногории он намекал в разговорах на наличие у него каких-то контактов не только с русским посольством в Вене, но и с Петербургом. Во время поездки в Черногорию в 1766 г. подпоручика М. Тарасова (он доставил в Цетинье из Петербурга имущество умершего там митрополита Василия) Степан Малый встречался и беседовал с ним. Позднее, очевидно, для повышения своего авторитета он рассказал об этом архимандриту Аввакуму. Тот в свою очередь передал об этом летом 1768 г. Д. М. Голицыну, а последний доложил в Петербург. По случайному совпадению там вскоре была получена реляция из Киева о задержании С. Плевковича. Возникла столь тревожившая императрицу возможность существования каких-то связей Степана Малого в России. Поэтому в зашифрованном письме в Йену (а так обычно поступали только с важнейшей информацией) П. И. Панин сообщал 14 октября Д. М. Голицыну о задержании на Украине черногорского эмиссара и одновременно передавал распоряжение, несомненно санкционированное императрицей: «. . . упоминаемый же в записке архимандрита Аввакума российский офицер, имевший с самозванцем разговор, имеет сыскан быть — что то за разговор между ими бы ч» [106, т. 87, с. 167].

Имел ли Степан Малый и в самом деле каких-то информаторов в России или то лишь случайное совпадение, но незадолго до прибытия в Черногорию миссии Ю. В. Долгорукова он, по обыкновению выражаясь иносказательно и с недомолвками, намекал на появление в скором времени русских кораблей и на свой возможный отъезд «домой». Во всяком случае на первых порах черногорцы восприняли Долгорукова и его спутников как «подданных» своего правителя, прибывших к нему с «родины».

Надо заметить, что эти чувства, порожденные русскими симпатиями черногорцев, Степан Малый неоднократно и умело ставил на службу легенде. В послании 13 августа 1768 г., переданном митрополиту Савве через Аввакума, Д. М. Голицын был недалек от истины, обвиняя Степана Малого в том, что посылкой эмиссаров в Вену он хочет «еще больше усилить себя в Черной Горе» [12, № 16, ч. 2, 1768 год, л. 126]. Действительно, не только широкие слои черногорского населения, но и сами эмиссары, как правило, верили в высокий кредит своего правителя в России. «Я ведаю за подлинно, — многозначительно подчеркивал Г. Дрекалович в упоминавшемся письме Д. М. Голицыну от 25 февраля 1768 г., — что вы лучше, нежели мы, знаете, кто он таков, как о том и на Великом Востоке неизвестно» [Там же, л. 12]. 7 марта Г. Дрекалович, пеняя послу за молчание, вновь вернулся к этой теме: «Или вы не верите, что Степан Малый жив, или нас за лжецов почитаете, только я знаю, что он Христа ради на сем свете страждет и думаю, что он на Востоке известен, почему он нас и послал к вам» [Там же, л. 12 об.].

В приведенных выдержках привлекают к себе внимание по крайней мере два момента, существенных для понимания эволюции черногорского варианта легенды о Петре III. Во-первых, обозначение имени правителя. Как мы видели, сам Степан Малый

себя именем покойного русского императора никогда не называл. И даже неоднократно подчеркивал это, хотя и «разрешал» окружающим называть себя именем или просто титулом покойного Петра III. В свете этого избранное им прозвание «Степан Малый» приобретало значение условного символа как имя-заместитель. Этому отвечало и заявленное в переписке желание черногорских посланцев не разглашать на бумаге «секретов» Степана Малого, а лично сообщить их Д. М. Голицыну. Они были убеждены (и настойчиво повторяемые намеки подтверждают это), что под условным символом «Степан Малый» однозначно подразумевается Петр III. Поэтому и начальные строки цитированного письма Г. Дрекаловича от 7 марта зашифровывали подлинный их смысл. Их на самом деле следовало читать так: «Или вы не верите, что Петр III жив. . .».

Но этот символ-заместитель не был единственным. Другим были слова «Восток» и «Великий Восток». В европейских просветительских кругах эпохи Просвещения, а отчасти и позднее, этими словами часто называли масонские ложи — и как конкретное наименование, и как их обобщенно-нарицательное обозначение. Вспомним хотя бы слова из стихотворения Г. Р. Державина «Фелица» (1782), обращенного к Екатерине II: «К духам в собранье не въезжаешь, // Не ходишь с трона на Восток».

Но не будем спешить с зачислением черногорского правителя в масонскую ложу. По разъяснению словоохотливого и отступившегося от Степана архимандрита Аввакума, черногорцы и другие православные югославы под словом «Восток» понимали обычно Россию «в рассуждении исповедуемой ею восточной церкви, когда о чем говорят в тайне» [28, с. 93]. Именно эта тайнопись и использована в письмах Г. Дрекаловича, который стремился довести до сведения Д. М. Голицына, что Петр III жив и собственной персоной находится в Черногории.

Смерть Степана Малого не привела к немедленному падению легенды. Наоборот, в Черногории, хотя и в более скромном масштабе, повторилось то, что до и после этого случалось в России: арест и гибель очередного самозванца не прерывали эстафеты. Самый преданный соратник Степана Малого М. Танович выступил после 1773 г. в роли творца-продолжателя народной легенды. Бродя на протяжении всех последующих 15 лет своей жизни по Черногории, он убеждал народ, что «царь Петр» не умер, а уехал за помощью в Россию. Скоро он вернется с воинством назад, чтобы освободить от османского ига черногорцев и остальные балканские народы [82, с. 61—62].

Так легенда о Петре III, развившаяся на черногорской почве в реальном образе Степана Малого, после его смерти не исчезла полностью, но влилась в общую легенду о грядущей освободительной миссии России. Обогнав ход истории на целое столетие, она сыграла значительную мобилизующую роль в национально-освободительной борьбе югославян, болгар и других народов Балкан против османского ига. Это, как известно, и произошло в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Поистине, сколько пророческих предчувствий заложено порой в народной культуре! Еще при жизни Степана Малого его неизвестный почитатель где-то на берегах Боки Которской написал по-итальянски сонет. В нем, подразумевая легендарного Петра III, говорилось, что «спустя пять лет после того, как ужасным образом сорвана корона с чела, приходит беспокойная тень в эти горы, чтобы найти здесь благочестивое успокоение».

Названные здесь «пять лет» позволяют считать, что сонет возник примерно в 1767 г., скорее всего после торжественного признания черногорцами Степана Малого в качестве «русского царя». Далее в сонете звучат поразительные по предчувствию строки: «Но если не хочешь отдыха на этой земле, иди туда, роковая тень, где у тебя было отнято царство, и подними войну» [119, с. 122].

И мы, повинувшись призыву анонимного автора этого загадочного стихотворения, покидаем Черногорию, чтобы снова вернуться в Россию, где начиналось одно из величайших социальных сражений — Крестьянская война 1773—1775 гг. под руководством Е.

И. Пугачева. Этому событию предшествовали неясные, но упорные слухи, будто Петр III скрывается у яицких казаков.

### ТРЕТИЙ ИМПЕРАТОР — Е. И. ПУГАЧЕВ: 1773 — 1775

Неясные, но упорные слухи, будто бы Петр III скрывается у яицких казаков, стали интенсивно распространяться среди местного населения с начала августа 1773 г. Поговаривали, что живет он на Таловом умете, в 60 верстах от Яицкого городка (Уральска), у пахотного крестьянина Степана Оболяева, более известного, впрочем, землякам по кличке Еремина Курица. Как и когда появился в этих местах «государь» и откуда он пришел, никто толком не знал. Это еще больше будоражило умы казаков, в памяти которых были свежи события восстания в Яицком городке в январе 1772 г. против своеволия и злоупотреблений со стороны царских властей и зажиточной казацкой старшины. Среди руководителей повстанцев важную роль играли И. Н. Зарубин — Чика, А. Перфильев, И. Пономарев — Самодуров, И. Ульянов и некоторые другие — в недалеком времени они станут сподвижниками «Петра III» — Пугачева. События в Яицком городке вызвали сочувственные отклики среди казачества на Волге, Дону, Тереке и в Запорожье. Хотя власти сурово расправились с повстанцами, «замирение» было и ненадежным и непрочным. «Тайные совещания, — писал А. С. Пушкин, — происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался» [102, т. 9, ч. 1, с. 12]. Это был Емельян Иванович Пугачев.

Жизненный путь предводителя Крестьянской войны в целом хорошо известен. Всестороннее освещение получил он в исследованиях советских ученых, в обобщающей биографической книге В. И. Буганова. Ограничимся поэтому только напоминанием важнейших вех. Родился Е. И. Пугачев около 1742 г. в станице Зимовейской области казачьего Войска Донского — его славным земляком был уроженец той же станицы Степан Разин. Когда подошло время, Емельяна записали в казачью службу, а вскоре он женился на казачке Софье Недюжевой. Но прожил с ней, по собственным словам, только неделю, после чего «наряжон был в прусский поход»: в то время уже шла Семилетняя война, участником которой Пугачев стал с 1759 г. [89, №3, с. 132]. Летом 1762 г. он вернулся домой, хотя время от времени его и посылали для выполнения разных воинских заданий. В эти годы Пугачев «прижил» сына Трофима и двух дочерей — Аграфену и Христину. Он принял участие в русско-турецкой войне, разразившейся в 1768 г. За мужество, проявленное при осаде и штурме Бендер в сентябре 1770 г., ему присвоили младшее казачье офицерское звание — чип хорунжего. Когда русская армия была отведена на зимние квартиры в Елизаветград, в числе других казаков Пугачеву дали месячный отпуск, и он вернулся на побывку домой. Однако полученные ранения и болезни задержали его здесь на более длительный срок, и в мае 1771 г. он стал официально хлопотать об отставке. Но дело затягивалось и грозило обернуться неудачей. Вольнолюбивый дух Пугачева не мог смириться с этим. Служилый период его биографии завершался, наступало время странствий. У нас нет возможности останавливаться на этом подробнее. Лишь укажем, что Е. И. Пугачев был в бегах, его несколько раз арестовывали, он снова бежал. Весна 1772 г. застает его в Стародубском монастыре, неподалеку от тогдашней границы с Речью Посполитой. Выдавая себя при случае за беглого донского казака, пострадавшего «из усердия к богу», он нашел приют у местных старообрядцев (хотя сам никогда раскольник не был). План действий, который то ли был придуман самим Пугачевым, то ли подсказан ему местными старообрядцами, заключался в следующем: скрытно перейти польскую границу, направиться в раскольникские скиты на Ветке (неподалеку от Гомеля), а оттуда явиться на русский пограничный форпост в Добрянке,\* (\* В литературе о Е. И. Пугачеве встречаются неточные указания, будто бы Добрянский форпост — ныне г. Добруш Гомельской области БССР. В действительности же название

*Добрянки не изменилось, и она входит в состав Черниговской области УССР, расположена на рубеже с Гомельской областью.) там сказаться русским, желающим выйти в Россию и на этом основании получить российский паспорт. Этот план Пугачев успешно выполнил. 12 августа, после отсидки в карантине, он получил российский паспорт.*



**«Устрашенный Пугачев». Картина маслом. Создана крепостным художником в 1790-х гг. по заказу сына П. И. Панина. Из собрания Гос. историч. музея (Москва).**

В нем, в частности, значилось: «Объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся собой при Добрянском форпосте, веры раскольнической, Емельян Иванов сын Пугачев, по желанию для его житья определен в Казанскую губернию, в Симбирскую провинцию, к реке Иргиз» [49, с. 225]. Осенью того же года он добирается до реки Иргиз и в Мечетной слободе знакомится с раскольничьим старцем Филаретом. Отсюда под видом купца приезжает на Яик, где в ноябре на Таловом умете, иначе — постоялом дворе, и произошло его знакомство с С. Оболяевым. Вскоре в Яицком городке он сходится со старообрядцем Д. С. Пьяновым, в доме которого прожил недолго, в конце ноября — начале декабря. Здесь и состоялся первый разговор, сыгравший решающую роль в объявлении самозванства, где Е. И. Пугачев, действуя умно и осмотрительно, «признается» своему гостеприимному хозяину: «Я де вить не купец, а государь Петр Федорович!» [89, № 7, с. 103]. Однако по возвращении назад в Мечетную слободу его по доносу одного из местных жителей арестовали в Малыковке. С 4 января по 29 мая следующего года Пугачев пребывал в Казанской тюрьме, откуда ему удалось бежать. Он снова возвращается к яицким казакам, поселившись скрытно у своего знакомого Оболева на Таловом умете.

Присматривался к казакам Пугачев, но и они присматривались к нему: с середины августа его посещают многие уважаемые и авторитетные представители яицкого казачества — Г. Закладное, И. Н. Зарубин, Д. Караваев, М. Г. Шигаев и некоторые другие, в недавнем прошлом участники восстания в Яицком городке. Решающей явилась встреча 28 августа, на которой Е. И. Пугачев появился перед казаками в роли Петра III. Стороны обсудили основные задачи предстоящей борьбы и, оставшись довольны друг другом, заключили своего рода соглашение о сотрудничестве — примечательно, что в доверительных беседах с несколькими казаками Пугачев признался в своем самозванстве. Но не это было для них главным. «Тогда мы по многим советованиям и разговорах, — указывал позднее один из них, — заметили в нем проворство и способность, вздумали взять его под свое защищение и ево зделать над собою властелином» [27, с. 150]. Иначе говоря, казацкие лидеры признали в Пугачеве необходимые качества руководителя и с этих пор публично поддерживали его как «Петра III». Важнейшие требования,

согласовывавшиеся во время предварительных переговоров, легли в основу первого манифеста повстанцев. Он был объявлен на хуторе Толкачевых 17 сентября 1773 г. в присутствии нескольких десятков человек — яицких казаков, калмыков и татар. Этот манифест, написанный И. Я. Почиталиным, ставшим секретарем неграмотного Е. И. Пугачева, позднее А. С. Пушкин назвал «удивительным образцом народного красноречия» [102, с. 357]. Организационная и идейно-политическая подготовка была завершена. Крестьянская война началась. . .

### **В поход идти не желаем!**

Могучее классовое выступление трудовых масс России под руководством Е. И. Пугачева, поколебало царскую империю, по словам А. С. Пушкина, «от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов» [102, т. 9, ч. 1, с. 80]. Оно прошло три основных этапа: начальный, ознаменовавшийся первыми крупными успехами повстанцев (сентябрь 1773—март 1774 гг.); второй, отмеченный походом на Казань, подъемом освободительной борьбы на Южном Урале и в Пермском крае (март—июль 1774 г.); заключительный, когда, вопреки наступлению правительственных войск, борьба разгоралась в Поволжье, на Урале, в Зауралье и ряде других мест. После разгрома основной армии повстанцев 24 августа 1774 г. у Солениковой ватаги, между Черным Яром и Царицыном, заговорщики из числа примкнувших к движению зажиточных казаков 8 сентября у реки Большой Узень вероломно арестовали Е. И. Пугачева. Спустя несколько дней он был выдан царским властям, а с 16 сентября в Яицком городке началось следствие, продолженное в Симбирске и Москве. Оно завершилось судом, который происходил 30—31 декабря в Тронном зале Кремлевского дворца. То был не столько суд, сколько классовая расправа, итоги которой Екатерина II предопределила заранее. В январе 1775 г. Е. И. Пугачев и другие предводители Крестьянской войны были казнены. Однако борьба народных масс продолжалась до последних месяцев 1775 г. Ее вели разрозненные, разобщенные партизанские отряды «пугачей».

Описание всех этих драматических событий не входит в нашу задачу — предпосылки, ход и последствия пугачевского движения получили в советской литературе основательную разработку. Исследователи, в частности, отмечали важнейшую особенность Крестьянской войны 1773—1775 гг., отличавшую ее от предшествующих выступлений народных масс России — относительно высокий уровень организованности. Да, движение было стихийным. Но Е. И. Пугачев и его сподвижники приложили немало усилий, особенно на первом этапе, чтобы сделать его управляемым. Правда, удавалось добиваться этого далеко не всегда, а часто и вовсе не удавалось. Народная мудрость и мечта о социальной справедливости соседствовали с кровавыми эксцессами, проявлением мести дворянам, ненависти угнетенных к угнетателям, выплеснувшейся как бы исподволь, но копившуюся десятилетиями.

И потому тем более примечательно, что в ходе Крестьянской войны складывались зародыши новых повстанческих центральных и местных органов власти. На освобожденной территории, в «столице» пугачевцев Берде 6 ноября 1773 г. была учреждена Государственная военная коллегия, первым председателем которой стал казак Андрей Витошнов, а секретарем Максим Горшков. Этот орган, с некоторыми изменениями просуществовавший до конца августа следующего года, являлся фактическим правительством повстанцев. Оперативными вопросами ведала Походная канцелярия во главе с казаком Андреем Овчинниковым.

Основной боевой силой пугачевцев была «главная» или «большая» армия, построенная на принципах казацкой военной организации и делившаяся на полки. При их комплектовании нередко учитывалась социальная, территориальная и этническая принадлежность воинов. По мере возможности Е. И. Пугачев и его командиры стремились придать повстанческой армии регулярный характер. Все же личный состав армии часто

менялся, значительная часть пугачевцев не имела военного опыта, что и сказывалось в боях с обученными войсками карателей. Тем не менее, Государственной военной коллегии удавалось решать насущные вопросы обеспечения своей армии продовольствием и боеприпасами, включая изготовление пушек. Обращалось внимание на воинские знаки и символы — знамена, медали и иные атрибуты. Вступавшие в армию Е. И. Пугачева приносили присягу на верность ему как «всепресветлейшему, державнейшему, великому государю Петру Федоровичу».

Крестьянская война вовлекла в свою орбиту огромные массы трудящихся, которые, независимо от их этнической и религиозной принадлежности, в равной мере были заинтересованы в освобождении от феодально-крепостнического угнетения, от все более усиливавшихся притеснений со стороны царских властей, помещиков и местных эксплуататоров. Поэтому наряду с русскими крестьянами (крепостными, государственными, приписанными к заводам, однодворцами) и казаками в движении участвовали украинцы, белоруссы, а также башкиры, татары и другие угнетенные народности, находившиеся на положении «ясачных крестьян». У них был общий враг, и правительство понимало это. Это понимали и пугачевцы. Так, в именном указе «Петра III» от 12 июня 1774 г., данном атаману Ф. Т. Кочневу, крестьянину Екатеринбургской слободы Белый Яр, торжественно провозглашалось: «Да и приклонившейся под нашу корону народы могут возчювствовать легкость от наложенного на них от злодеев тягчайшаго ига работы, освобождены будут [от] платежа податей и дана им будет свободная вольность без всякого в России притеснения» [48, с. 43]. Именно потому, что Крестьянская война носила в основе своей антидворянскую, социальную направленность, она приобретала в значительной мере интернациональный характер.

. . . Шла вторая половина декабря 1773 г. Вот уже свыше двух месяцев осаждали войска повстанцев Оренбург, который в их глазах являлся живым символом ненавистной самодержавно-помещичьей власти в крае. Со стен крепости нередко видели всадников, гарцевавших на некотором удалении; иные из них разбрасывали пугачевские прокламации. Так было и на этот раз. Быстро приблизившись, всадник (это был казак Иван Солодовников) оставил какой-то пакет и тотчас умчался назад. Когда Оренбургскому губернатору И. А. Рейнсдорпу доставили этот пакет, в нем обнаружили «именной указ» (от имени Петра III) с требованием сдать город. Но поразило не это — указ был написан на хорошем немецком языке [88, с. 137]. С первой же оказией И. А. Рейнсдорп — это случилось 24 декабря — переправил непривычный повстанческий документ в Петербург. Там он вызвал переполох, продолжавшийся несколько месяцев. «Старайтесь узнать: кто сочинитель немецкого письма, от злодеев в Оренбург присланного, — требовала в апреле 1774 г. императрица, — и нет ли между ними чужестранцев, и, несмотря ни на каких лиц, уведомите меня о истине» [48, с. 384]. Впоследствии выяснилось, что «немецкий указ», датированный 19 декабря, являлся переводом аналогичного указа Е. И. Пугачева, составленного двумя днями ранее. В роли переводчика выступал подпоручик М. А. Шванвич, который был 8 ноября 1773 г. взят в плен повстанцами и согласился служить Пугачеву в качестве секретаря его Военной коллегии. В марте он сдался правительственным войскам и поведал о своей деятельности у «бунтовщиков». Его разжаловали, судили и сослали навечно в Туруханск, где он и умер в ноябре 1802 г.

Любопытная деталь — от М. А. Шванвича, служившего, пусть и вынужденно, «Петру III»—Пугачеву, тянется нить к его отцу А. М. Шванвичу, которого лично знал настоящий Петр III и к которому царь проявил благосклонность, зачислив ротмистром в свой голштейнский полк и пожаловав 300 душ крепостных. И отец и сын Шванвичи были крестниками императрицы Елизаветы Петровны, а позднее младший Шванвич некоторое время состоял ординарцем при Г. А. Потемкине. Не сыграло ли все это определенную роль в приближении пленного подпоручика к Е. И. Пугачеву?

Конечно, М. А. Шванвич — один из немногих представителей русского дворянства, сотрудничавших с повстанцами. Однако в окружении Е. И. Пугачева он все же был не единственным человеком, владевшим иностранными языками. Во всяком случае и после его ареста манифесты, указы и прокламации повстанцев на немецком языке продолжали появляться. Они предназначались немецким колонистам Поволжья и встречали сочувственное отношение в средних и малоимущих кругах иностранных колонистов, особенно летом 1774 г. «Крестьянская война, охватившая в это время Нижнее Поволжье, нашла отклик и среди колонистов — немцев, французов, шведов, поселившихся там недавно» [100, с. 338]. На участие в пугачевском движении немецких поселенцев уже обращали внимание историки ГДР. Кстати сам Пугачев на допросе в Москве показал, что во время прохождения его армии в начале августа 1774 г. из Саратова через поселения колонистов «охотников же набралось в его толпу пять сот человек». И примечательно, что в именном указе «Петра III»—Пугачева 15 августа среди тех, кто «приняли и склонились под наш скипетр и корону», упомянуты и «саксоны» — поволжские колонисты [48, с. 51].

Это обстоятельство заслуживает внимания с точки зрения истории не только русско-немецких, но и русско-славянских народных связей. Дело в том, что среди колонистов (хотя в массе своей эти «саксоны» и состояли из немецких крестьян и ремесленников, переселившихся в Россию в середине 1760-х гг. на основании указов Екатерины II о приглашении иностранных колонистов) какую-то часть составляли онемечившиеся потомки чешских протестантов, бежавших от религиозных преследований XVII—XVIII вв. из владений Габсбургов в Пруссию и другие протестантские области Германии. Они принадлежали к общине гернгутеров, по происхождению своему связанной с традициями антикатолической Общины чешских братьев (в XVII в. ее возглавлял великий чешский мыслитель и общественный деятель Я. А. Коменский). Свое наименование они получили по местонахождению одной из таких групп в лужицком городе Гернгут в Саксонии (отсюда и другое их название — «саксоны»). Гернгутеры вели активную миссионерскую работу, в частности, уже с конца 1720-х гг. в Прибалтике. Они проповедовали моральное перевоспитание, трудолюбие и бережливость, что отражало интересы имущих слоев деревни, втягивавшихся в развитие товарно-денежных, буржуазных отношений. В целях привлечения к себе сторонников из непривилегированных слоев населения, гернгутеры называли друг друга «братьями», вели деловые операции с купцами из Чешских земель, а также имели спорадические контакты с сохранившимися там тайными некаатоликами.

Недавно А. П. Бажова выдвинула интересную и плодотворную мысль о воздействии социальной дифференциации на политические симпатии к народному движению в России со стороны черногорских, сербских и других южнославянских переселенцев. Если их зажиточные элементы верой и правдой служили царскому правительству, то представители беднейшей части самой логикой классовой борьбы втягивались в общее движение трудовых масс России против феодально-крепостнической эксплуатации.

«Верхушка становилась на сторону привилегированного дворянского слоя, а бедняки вместе с беднейшими слоями России включались в классовую борьбу против закрепощения, принимали участие в крестьянском движении 60-х гг. XVIII в. и Крестьянской войне 1773—1775 гг. под руководством Е. И. Пугачева» [28, с. 157—158]. Этому могло способствовать и то, что, например, черногорских выходцев расселяли не только по соседству с районами, где появились самозванцы, но и в местах, оказавшихся позднее в водовороте восстания. Так, в рапорте Военной коллегии, направленном 4 августа 1758 г. в Сенат, говорилось: «А желающих в вечное подданство и на поселении быть как женатых, так и холостых по прежде посланным из правительствующего Сената указом отправлять в Оренбургскую губернию, коих тамо в способных местах и селить. А не желающих на поселение, кои будут в вечном подданстве, содержать в Оренбурге по

прежним указом в настоящей воинской гусарской службе» [96, с. 226]. Все это подкрепляет предположение А. П. Бажовой, которое, однако, нуждается в дополнительном исследовании, а пока остается гипотезой, хотя и вполне вероятной. В этом убеждает несколько лучше известное участие в рядах пугачевцев поляков — добровольцев из числа конфедератов, находившихся в России (впервые обратил на это внимание в «Истории Пугачева» А. С. Пушкин).

Царизм по понятным причинам не доверял конфедератам. Уже 28 сентября 1773 г., т. е. спустя всего несколько дней после начала пугачевского движения, А. И. Рейнсдорп решил отобрать у поляков, находившихся в Оренбурге, оружие и отправить их под конвоем в Троицкую крепость [102, т. 9, ч. 1, с. 20]. И все же отношение бывших конфедератов к развернувшимся событиям не было однозначным. Их вожди, очутившись в России, сохраняют свое привилегированное положение. Например, по прямому указанию императрицы А. Пулавскому в Казани был предоставлен дворец. Пулавский в Казани продолжал вести светский образ жизни. Некоторая часть пленных быстро освоилась с новой обстановкой, решив навсегда остаться в России. Из них свыше 600 человек перешли в православие. Понятно, что в подобных случаях симпатии к пугачевскому движению отсутствовали.

Иное дело — рядовые конфедераты, среди которых преобладали малоимущие и разночинные элементы. При тех или иных колебаниях, настроения их в целом были далеки от лояльности. Социальные различия давали знать о себе в их отношении не только к царскому правительству, но и к своим бывшим лидерам. «Среди пленных, — писал, например, К. Хоецкий, — постоянно слышались жалобы на изменническое поведение собственных начальников, из которых многие, преследуя исключительно личные интересы, причинили своему народу немаловажные бедствия: они вербовали сограждан в конфедерацию, а потом изменнически предавали свои отряды в плен русским» [121, с. 444]. Такова атмосфера социальных противоречий, царившая в этой среде.

Учитывая все это, Екатерина II с началом Крестьянской войны обещала руководителям конфедератов освободить всех пленных, если те примут участие в борьбе против пугачевцев. «И действительно, большая часть конфедератов из знатных шляхтичей в составе карательных правительственных войск приняла активное участие в подавлении восстания, но привлечь своим личным примером на борьбу с восставшими всех рядовых конфедератов так и не удалось» [111, с. 23]. Движимые стремлением поскорее вернуться домой, они под разными причинами отказывались от участия в военных действиях, дезертировали.

Искры мятежа тлели во многих местах. Так, 22 декабря 1773 г. открытое неповиновение проявили поляки, служившие в гарнизоне Таналыкской крепости, на юге Башкирии, — всего 41 человек. От их имени солдат Ян Чужевский заявлял, что они несли службу «сколько им терпимо было», а ныне требуют отправки домой и «из той крепости в поход идти не желаем» [18, л. 95—95 об.]. Правда, в данном случае — искренне или по тактическим соображениям — отказ мотивировался отсутствием зимнего обмундирования и тем, что «наших братьев от злодеев некоторое число побито». В других случаях симпатии к пугачевцам выражались более открыто. Например, в том же Оренбурге. Здесь, по донесению сибирского губернатора Д. И. Чичерина 1 октября 1773 г., «польские конфедераты взбунтовались, согласившись к соединению с злодейскими шайками Пугачева, однако же умысел предупрежден, и все конфедераты заарестованы» [47, с. 2]. В Тобольске, после получения известий о появлении «Петра III» — Пугачева, служившие там в солдатах поляки начали демонстративно подавать милостыню яицким казакам, заключенным в местной тюрьме. Когда стало известно о намерении командования послать их на помощь осажденному Оренбургу, в октябре вспыхнуло открытое неповиновение [47, с. 7]. Правда, зачинщиков наказали, но дело было сделано: подкрепление из Тобольска к Рейнсдорпу не прибыло.



И самое существенное: некоторая часть конфедератов, не ограничиваясь выражением сочувствий и симпатии, открыто переходила на сторону повстанцев. Первые перебежчики в рядах пугачевцев появились в период осады Оренбурга. Они обслуживали артиллерию, участвовали в конных рейдах, выполняли другие боевые задания. На рубеже 1773—1774 гг. из Кизилской крепости дважды совершили побег 14 вооруженных солдат-поляков. Многозначительная деталь: вместе с ними бежал и русский надсмотрщик. Все они явились в лагерь повстанцев. Так бывало и в последующие месяцы. Группа конфедератов, например, влилась во главе с Заблоцким в армию Е. И. Пугачева под Казанью. Здесь, по-видимому, симпатии к повстанцам были достаточно сильны. Во всяком случае именно в Казани в мае 1774 г. властями был задержан некий Дунин-Барковский, который, согласно официальному обвинению, «в простом и легковерном народе» распространял «непристойные речи о Пугачеве». Он, в частности, называл его «большой головой» и утверждал, что генерал-аншеф А. И. Бибиков, поставленный осенью 1773 г. во главе карательных войск (он умер 9 апреля следующего года), будто бы «хотел предаться Пугачеву с командой» [111, с. 24].

В эти же месяцы, как видно из рапорта Д. И. Чичерина от 12 ноября 1774 г., в Тобольске разбиралось дело принявшего православие конфедерата Александра Гурского, обвиненного в подговоре Антона Войковского «уехать к нему Пугачеву» [16, № 467, ч. 3, л. 80 об.—81 об.].

В августе 1774 г. перед следственными властями прошло 35 пугачевцев, в том числе семь поляков. Они были охарактеризованы как перешедшие «в злодейскую толпу» и «безнадежные ко обращению на истинный путь» [20, л. 123 об.—124].

Конечно, определенную роль в переходе на сторону повстанцев представителей зарубежных славянских народов, по разным причинам оказавшихся тогда в России, могли играть соображения языково-культурной близости. Однако не они были решающими. Главным был социальный фактор. Показательно, в частности, что генерал русской службы Станиславский, сам поляк по происхождению, сурово, а зачастую и просто зверски расправлялся с теми конфедератами, которые в той или иной форме проявляли симпатии к восставшему народу. Он, например, угрожал поступить с ослушными солдатами-поляками из Таналыкской крепости «яко с сущими злодеями» [67, т. 2, с. 186]. Как жестокий помещик-крепостник вел себя с южнославянскими солдатами генерал-майор И. Хорват, на которого неоднократно поступали жалобы в Петербург. Около 200 солдат Новомиргородского гарнизона в 1760 г. отказались повиниться, пока не получат причитавшееся им жалование. «Разыгралось настоящее сражение, в котором, с одной стороны, были офицеры во главе с И. Хорватом, вооруженные пушками, с другой — восставшие рядовые» [28, с. 154]. Во всех подобных случаях вступала в силу логика социальной поляризации, разводившая борющихся по разным сторонам классовой баррикады. Эта логика и приводила славянских добровольцев в пугачевские ряды, не давая им никаких привилегий и уравнивая в правах с остальными участниками Крестьянской войны. Со всей определенностью ближайший помощник Е. И. Пугачева и его «думный дяк» И. Я. Почиталин показывал, например, в ходе следствия, что служившие у них поляки отнюдь не находились на каком-то особом положении, «не исполняли должностей», а «служили наряду с прочими казаками» [67, т. 2, с. 186]. И если в отличие от остальных соотечественников, попавшихся на приманку Екатерины II или просто стремившихся на родину, отдельные конфедераты сознательно переходили к восставшим, то это говорило о многом. Прежде всего о том, что ими двигали чувства симпатии к русскому и другим народам России, ненависти к царизму. И каким бы скромным не был вклад представителей зарубежных славян в события 1773—1775 гг., он свидетельствовал о том, что в горниле Крестьянской войны выковывались зачатки боевого содружества, которое позднее станет важным фактором совместной борьбы русского и других славянских народов против социального и национального угнетения.

### Явившийся из тайного места

«Был де я в Киеве, в Польше, в Египте, в Иерусалиме и на реке Тереке, а оттоль вышел на Дон, а с Дону де приехал к вам» [89, № 4, с. 112]. — Примерно так говорил во время памятной встречи с представителями яицких казаков в конце августа 1773 г. Е. И. Пугачев, входивший в роль «Петра III». Рассказ о его скитаниях до «объявления» развивался преимущественно в устной форме — в манифестах и других официальных документах пугачевцев он почти не разработан. Если упоминания об этом здесь по необходимости и встречаются, то носят они лапидарный, самый общий характер: явился «ис тайного места». Именно так, например, говорилось в обращении «Петра III» — Пугачева к башкирам Оренбургской губернии 1 октября 1773 г. [48, с. 26]. Рассказ о странствиях, в том числе зарубежных, «чудесно спасшегося» героя легенды дошел в двух версиях — пространной и краткой.

Пространная непосредственно восходила к повествованиям самого Е. И. Пугачева, который, выступая в роли «третьего императора», объяснял, что после своего «чудесного спасения» путешествовал и за рубежом, и по России, чтобы узнать жизнь народа. Увидев его страдания, «царь» решил объявиться на три года ранее положенного срока «для того, что вас не увижу, как всех растащат» [101, с. 175]. В последующие месяцы этот рассказ, рассчитанный на широкую аудиторию, повторялся не только самим Пугачевым, но и людьми из его ближайшего окружения. Это приводило к некоторым разночтениям. Например, Т. И. Падуров на допросе в мае 1774 г. излагал эту часть легендарной биографии следующим образом: «. . . и был в Польше, в Цареграде, во Иерусалиме, у папы римского и на Дону ... да еще и высидел под именем донского казака Пугачева в Казане в тюрьме месяцев с 8» [101, с. 187]. Наоборот, краткая версия бытовала в народной традиции и с рассказами самого Е. И. Пугачева была связана лишь косвенно, частично, на что специальное внимание обратил К. В. Чистов [123, с. 164]. По этой версии, Петр III, избежав смерти во время переворота 1762 г., уходит из России за рубеж — в Царьград, а затем в Рим — «для испрашивания помощи, дабы он был по-прежнему в России государем». Маршрут зарубежных скитаний «Петра III» — Пугачева, таким образом, выглядит здесь существенно сокращенным. Эти рассказы, особенно их пространная версия, могут быть отнесены к числу любопытнейших черт пугачевского варианта народной легенды о Петре III: в них вымысел сочетается с деталями, в основе которых лежали подлинные эпизоды из жизни самого Е. И. Пугачева.

Итак, детали, за которыми просматриваются исторические реалии. Они касались его действительного пребывания не только на Дону, где он родился и жил до середины 1771 г., на Тереке и в Казани, но и за рубежом, где Пугачев впервые оказался в 1759 г. как участник Семилетней войны. Вот, например, что можно прочесть об этом в записи допроса его в Яицком городке 16 сентября 1774 г.: «По выступлении с Дону пришли мы в местечко Познани, где и зимовали. Оной корпус, сколько ни было войск в Познани, состоял в дивизии графа Захара Григорьевича Чернышева. Потом из Познани выступили в местечко Кравин, где ночью порою напали на передовую казачью партию прусаки, хотя урону большего не было, однакож, учинили великую тревогу. . . Из Кравина выступили в Кобылин. Тут или в другом месте, не упомяну, пришло известие из Петербурга, что ея величество, государыня императрица Елисавета Петровна скончалась, а всероссийский престол принял государь император Петр Третий. А вскоре того и учинено с пруским королем замирение, и той дивизии, в коей я состоял, ведено итти в помощь прускому королю против ево неприятелей. А недоходя реки Одера идущую ту дивизию, над коей, как выше сказано, шеф генерал граф Чернышев, встретили прусские войски, и чрез Одер вместе перешли. А на другой день по переходе сам его величество [Фридрих II] ту дивизию смотрел. Были у прускаго короля — сколько время, не упомяну. Отпущены были в Россию. При возвращении ж в Россию, перешед реку Одер, пришло известие из

Петербурга, что ея величество, государыня Екатерина Алексеевна, приняла всероссийский престол, и тут была в верности присяга, у которой и я был» [89, № 3, с. 132—133].

Участие в заграничных походах существенно расширило кругозор донского казака, обогатило его немалым жизненным опытом (а уж впитывать новые впечатления, запоминать мельчайшие детали и анализировать увиденное он умел хорошо) — об этом свидетельствовали и приведенные выше строки протокольной записи. Поскольку же часть маршей в 1759—первой половине 1762 г. происходила и на территории тогдашней Речи Посполитой, Е. И. Пугачев имел возможность познакомиться также и с польским населением (часть, в которой служил молодой казак, останавливалась в Познани и в другом крупном польском городе Торунь). Спустя четыре года в отряде есаула Е. Яковлева он вновь оказался в приграничных районах Речи Посполитой: «Служба наша в то время состояла: выгонять из Польши российских беглецов, кои жили тамо в разных раскольничьих слободах» [89, № 3, с. 133]. А заодно Пугачев познакомился и с Малороссией, поскольку при выполнении этого задания его отряд побывал и в Чернигове.

Возможно, именно поэтому вспомнил он в 1772 г. об этих местах, лишившись «правильных» документов и обдумывая способ получения официального российского паспорта. Во всяком случае, в протоколе его допроса в Симбирске четко записано, что в Слободскую Украину Пугачев пробирался, «имея намерение итти в Польшу» [89, № 5, с. 110].

Позднее Екатерину II настораживало пребывание Пугачева в соседней стране. Уже в первом манифесте о его самозванстве 15 октября 1773 г. подчеркивалось, что Пугачев «бежал в Польшу в раскольничьи скиты. . . , возвратясь из оной под именем выходца». Сам по себе этот факт стал известен властям еще в декабре 1772 г., после ареста будущего предводителя Крестьянской войны в Малыковке. Но теперь их беспокоило другое: не было ли связано принятие им имени Петра III с подстрекательством со стороны конфедератов? Об этом, в частности, выпытывали у двоюродного племянника Пугачева — Федота, который носил ту же фамилию Пугачев, а донской полк И. Ф. Платова, в котором он служил, участвовал в «усмирении конфедератов». В конце 1774 г. Ф. М. Пугачева арестовали, и попал он в руки самого кнутабойцы С. И. Шешковского, возглавлявшего зловещую Тайную экспедицию. Делу, стало быть, придавалось значение чрезвычайное. Впрочем допрос ничего существенного не дал. Ф. М. Пугачев показал, что его родственник «в Польше против конфедератов не был». Воистину, у страха глаза оказывались велики [16, № 512, ч. 1, л. 461 об].

Что же известно о пребывании Е. И. Пугачева летом 1772 г. в Речи Посполитой? Прежде всего уточним: он перешел рубеж, направляясь к раскольникам на Ветку. Иначе говоря, Е. И. Пугачев находился не в собственно польских землях, которые его мало интересовали, а на белорусской территории, до 1772 г. входившей в состав Речи Посполитой. Но и здесь пробыл он недолго, нанимался на сенокосы, готовясь идти к Добрянску. Он общался главным образом с русскими старообрядцами и местным белорусским населением. В результате этого общения, а также бесед со встретившимися ему людьми на Добрянском форпосте у Е. И. Пугачева окончательно созрело решение, к которому он был психологически подготовлен своим жизненным опытом — принять имя Петра III. Но почему именно здесь?

«Не подлежит сомнению, — отмечает К. В. Чистов, — что Пугачев не только знал легенду, но и слышал о деятельности некоторых самозванцев» [123, с. 147]. И предшествующая традиция народного самозванчества, не обязательно даже связанного с именем Петра III, могла оказать на Пугачева определенное влияние: как ни как, а он и вождь Крестьянской войны XVII в. С. Т. Разин были земляками. И невозможно себе представить, чтобы будущий «Петр III» — Пугачев не слышал о своем знаменитом предшественнике, чье имя прочно вошло в фольклор. Но нельзя забывать и о другом: путь через Черниговщину, где Пугачев уже бывал в 1766 г., проходил через места, совсем недавно бывшие свидетелями выступлений первых самозванцев, использовавших имя

Петра III: Н. Колченко и А. Асланбеков объявились в 1764 г. именно на Черниговщине, а Г. Кремнев и П. Чернышев действовали годом позже сравнительно недалеко, в Воронежской губернии. Кроме того, в этих малороссийских и южнорусских районах появлению первых самозванцев предшествовали упорные слухи, будто Петр III жив и разъезжает по округе. Трудно предположить, чтобы все это эхом не отозвалось в душе Пугачева, вообще очень внимательного ко всему, что он видел и слышал. Жребий был брошен, и выбор был сделан тогда же, в августе 1772 г., в Добрянске. И прав А. И. Андрущенко, который отметил, что возвращение Пугачева «в Россию, на Иргиз, поближе к яицким казакам было шагом преднамеренным и целеустремленным» [27, с. 149]. И неудивительно, что позднее, уже выступая в роли «Петра III», народный вождь с полным основанием называл Польшу одним из этапов своих зарубежных странствий.

Совершенно иной смысл имеет включение в этот маршрут Иерусалима, Египта, Рима и Царьграда — ведь в этих местах ни реальный Петр III, ни тем более носитель его имени заведомо никогда не бывали. Корни этой географии оказываются качественно иными. Они уходят в традиции русского фольклора, а отчасти и к таким жанрам древнерусской литературы, как «хождения», «жития святых» и повести: в них Царьград (именно Царьград, а не Константинополь и тем более не Стамбул), Египет и Иерусалим упоминаются многократно. Между этими традиционными мотивами, известными в народе, и сюжетом зарубежных странствий «Петра III» — Пугачева обнаруживается поразительное сближение, доходящее до почти полного отождествления. Вот лишь один пример.

В былине «Добрыня и Алеша», записанной выдающимся русским славистом А. Ф. Гильфердингом в 1871 г. на Онеге, Илья Муромец говорит:

Я ведь три года стоял под Царём под градом  
 Я ведь три года стоял под Ерусалимом  
 Я двенадцать лет Ильюша на разъездах был.  
 [90, с. 120].

И почти текстуальное совпадение — слова Е. И. Пугачева в передаче М. А. Шванвича: «Вот детушки! Бог привел меня еще над вами царствовать по двенадцатилетнем странствовании: был во Иерусалиме, в Царьграде, в Египте» [123, с. 152]. Добавлен Египет, зато урочный срок — 12 лет назван тот же (правда, в ряде случаев Пугачев добавлял, что «объявился» раньше срока, чтобы помочь народу). В этом контексте и польская тема обретала особый, тоже в значительной мере не реальный, а фольклоризованный смысл, становясь одним из способов идейно-политической полемики с правительственными манифестами.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Османской империей был подписан лишь в июле 1774 г. Внешнеполитические трудности порождали у Екатерины II подозрения о возможных контактах пугачевцев с иностранными силами или внутривосточной оппозицией. Неуверенность Екатерины II в своем положении (она даже намеревалась бежать из России, если бы повстанцы двинулись на Москву) усугубляла самые невероятные подозрения в отношении повстанцев. И вот во время трагического для Пугачева сражения у Солениковой ватаги в числе прочих трофеев царский полковник Михельсон захватил знамя гольштейнского полка барона Дельвига, расформированного после свержения Петра III. Узнав об этом, императрица снова заподозрила существование прямой связи пугачевцев с окружением либо ее покойного супруга, либо Павла Петровича. В письме 15 сентября 1774 г. она потребовала (повторив это 3 октября) от московского генерал-губернатора кн. М. Н. Волконского выяснить, как это знамя попало к Пугачеву. Но выяснилось, что наделавшее столько шума знамя повстанцы незадолго перед тем 15 августа отбили у правительственных войск. Глубокий знаток архивных материалов процесса Р. В. Овчинников справедливо отмечает, что намерение Екатерины II выдать «бунт» за акцию, якобы инспирированную враждебными ей внутренними или

внешними силами, потерпело полный провал [89, №3, с. 127]. И неудивительно: подлинные причины возникновения крестьянской войны заключались в коренных пороках феодально-крепостнической системы, представителем и олицетворением которой Екатерина II являлась. «Не Пугачев важен, важно общее негодование», — писал в то время Д. И. Фонвизину никто иной, как А. И. Бибиков [102, т. 9, ч. 1, с. 45]. Так думали многие трезвомыслящие представители российского дворянства, хотя неумолимая логика классово-борьбы и приводила их в ряды умиротворителей пугачевского движения.

«... Я не ворон, а вороненок, а ворон-то еще летает», — гордо бросил П. И. Панину плененный, но не сдавшийся Емельян Пугачев, уже переставший быть «Петром III». На Болотной площади в Москве в присутствии многочисленных толп он был 10 января 1775 г. казнен. Вместе с ним на высоком помосте сложили свои головы его верные сподвижники Тимофей Иванович Падуров, Афанасий Петрович Перфильев, Василий Иванович Торнов и Максим Григорьевич Шигаев. В феврале того же года в Уфе был казнен еще один соратник Е. И. Пугачева-Иван Никифорович Зарубин—Чика.

Дворянская Россия торжествовала. А вместе с ней славили победу над восставшими монархи и правящие круги соседних европейских государств. Но ненадолго.

Скоро вновь понеслись во все концы дворянской Европы тревожные вести. На этот раз из Вены: в Чешских землях начиналось крестьянское восстание. И было в этих событиях нечто такое, что Екатерина II, узнай она тогда об этом, пришла бы снова в смятение: в северо-восточной Чехии, неподалеку от города Хлумец, весной 1775 г. объявился «русский принц».

## ЧЕХИЯ: 1775

В северо-восточной Чехии, неподалеку от города Хлумец, весной 1775 г. объявился «русский принц». Ходили слухи, что он возглавляет повстанческий отряд: в эти месяцы в Чешских землях развертывалось крестьянское восстание, обрушившее свой гнев против помещиков, которые в глазах крестьян были главным олицетворением феодально-барщинного гнета, символом попрания человеческого достоинства крепостных.

Сколько-нибудь подробный рассказ о самом восстании отвлек бы далеко от интересующей нас темы. Поэтому ограничимся лишь краткой его характеристикой. Восстание в Чешских землях 1775 г. прошло два этапа — весенний и летний. Оно завершилось изданием нового барщинного патента, который был объявлен 13 августа для Чехии и 7 сентября для Моравии и австрийской части Силезии. Хотя барщина, против которой боролись повстанцы, и сохранилась (она просуществовала вплоть до революции 1848—1849 гг.), размеры ее отныне были определены более точно в зависимости от имущественного положения отдельных групп крестьянства. Но и эта уступка была буквально вырвана у правящих кругов восстанием, которое сама императрица Мария Терезия меланхолично назвала «пятном на своем царствовании».

В целом по составу участников и по целям, которых они добивались, движение было по преимуществу крестьянским. Хотя у него и имелась объективно определенная общность интересов с городскими низами, до реального союза дело не дошло. А позиция имущих кругов городского населения (мещан) по отношению к восстанию была негативной, в лучшем случае — нейтральной.

Крестьянский характер событий 1775 г. отразился со всей определенностью в программных требованиях восставших, для которых лозунг свободы означал в первую очередь отмену барщины. Именно поэтому они столь упорно доискивались «золотого патента» об отмене барщины, который будто бы скрывался помещиками и властями. Как показала современная чехословацкая историография, легенда об этом патенте представляла собой своеобразное преломление в народном сознании неясных и отрывочных слухов о дебатах в правительственных сферах на рубеже 60—70-х гг. по крестьянскому вопросу. Реальным ядром легенды было «назначение в 1771 г. придворной

поземельной комиссии, о чем было сообщено указом земского губерниума 10 октября 1771 г.» [142, с. 70]. Непосредственно же крестьян взбудоражили акты 1774 г., согласно которым урегулирование барщинных повинностей допускалось на основе «добровольных» соглашений между крестьянами и помещиками. Эти, ни к чему не обязывавшие, документы породили у крестьян впечатление обманных.

Несомненно, что к началу восстания 1775 г. фольклоризация темы избавления от барщины в сознании крестьян Чешских земель уже в основном завершилась — иначе «золотой патент» не мог бы стать символом борьбы. Но сложившись, легенда создала в умах крепостных схему, центральное место в которой неминуемо должен был занять и занял образ государя-избавителя.

Кандидатура «чешской и венгерской королевы» (так сокращенно титуловалась вдовствующая императрица Мария Терезия) для этого не подходила. Она правила разношерстными землями Австрийской монархии к тому времени уже 35 лет, и никаких особых иллюзий на ее счет крестьянство не питало. Определенную роль, по-видимому, как и в России, сыграло осознание ее правления в качестве «бабьего» и «уже поэтому, с точки зрения патриархального крестьянина, непригодного» [123, с. 138]. И неудивительно, что в 1775 г. крестьяне Чешских земель искали не только «золотой патент», но и «своего», «сельского императора». Популярным объектом такой идеализации стал сын Марии Терезии, германский император Иосиф П.

Хотя в 1765 г. он был объявлен в пределах земель Австрийской монархии соправителем, фактически роль его при жизни матери была минимальной. Между тем человек решительный, убежденный приверженец просветительских концепций всесилia государственной власти в руках «просвещенного» монарха, он тяжело переживал свою беспомощность и чрезвычайно критически относился к политике Марии Терезии, особенно во внутренних делах.

Слухи об этом в искаженной и полуфантастической форме докатывались и до крестьян Чешских земель, жадно ловились и перетолковывались на свой лад. В месяцы восстания 1775 г. наивная вера в Иосифа приобрела ярко выраженное политическое, антипомещичье звучание. Избавителя ждали, и он, независимо от своего имени и положения, должен был явиться.

### **Загадки Градецкого письма**

В такой психологической атмосфере и возник где-то под Хлумцем, в Градецком крае, весной 1775 г. «русский принц». Впрочем, возник ли? Для столь скептической постановки вопроса имеются основания. В самом деле, об этом «принце» не пишут или почти не пишут историки; молчат о нем и современные тем событиям источники. И лишь в одном, дошедшем до нас, сообщении можно прочитать следующее: «Письмо, находящееся в магистрате города Градца Кралове, содержит донесение об этом восстании крестьян коменданту, который в то время как раз отсутствовал. В нем указано, что «во главе их стоит молодой человек, который выдает себя за изгнанного русского принца. Он утверждает, что как славянин добровольно приносит себя в жертву делу освобождения чешских крестьян» [137, с. 65].

Эти строки находятся в «Хронике достопамятных событий хлумецкого поместья», написанной по-немецки около 1820 г. кратоножским священником Йозефом Кернером и посвященной гр. Леопольду Кинскому. Значительное место в «Хронике» отведено описанию событий 1775 г., происходивших в этой местности. Существенным недостатком приведенных здесь сообщений, включая и пассаж о «русском принце», является то, что их написание отделено полувеком от самих событий. И хотя Кернер указывал, что при составлении «Хроники» пользовался рассказами старожилов, сам он очевидцем не был и быть не мог: он родился в Новом Быджове в 1777 г. Это породило недоверие к информации Кернера. И хотя о ней дважды, в 1859 и 1932 гг., сообщалось в печати,

впервые серьезный источниковедческий анализ отрывка о «русском принце» был произведен известным чешским историком Я. Ваврой только в 1964 г.

В целом Я. Вавра считает сообщение И. Кернера достоверным, делая исключение лишь для мотивировки участия «русского принца» в восстании «как славянина» [152, с. 150]. По мнению исследователя, подобный аргумент для событий 1775 г. выглядит анахронизмом, поскольку, как он считает, славянского сознания в народной среде тогда еще не существовало. Отсюда Я. Вавра делает вывод, что приведенные слова представляют собой интерполяцию самого И. Кернера, симпатизировавшего идеям чешского национально-освободительного движения 1820-х гг. В остальном же, по мнению Я. Вавры, в сообщении о «русском принце» причудливо слились слухи о судьбе реального Петра III и о движении под руководством Е. И. Пугачева, выступавшего под этим именем. И хотя замечание Я. Вавры об отсутствии в чешской народной среде 1770-х гг. славянского сознания нуждается в уточнении (к этому вопросу мы еще вернемся), главная заслуга чешского историка заключается в том, что он впервые ввел отрывок о «русском принце» в контекст чешско-русских связей эпохи массовых антифеодальных движений в России и Чешских землях.

Используя основные наблюдения Я. Вавры, вчитаемся еще раз в скудные строки сообщения И. Кернера о «русском принце». В них интересна ссылка автора на какое-то письмо из городского архива Градца Кралове. Правда, проверить подлинность цитируемого источника невозможно, поскольку он не сохранился: еще в середине XIX в. большая часть архива была уничтожена. И все же наличие такого письма в годы, когда кратоножский священник составлял свою «Хронику», представляется достаточно правдоподобным. В пользу этого свидетельствует ряд соображений. Во-первых, И. Кернер дает не пересказ, а прямую цитату со ссылкой на место хранения документа и на его характер (донесение на имя местного коменданта). Едва ли решился бы скромный сельский священник, писавший «Хронику» для Л. Кинского, одного из влиятельнейших представителей чешско-австрийского дворянства, столь грубо мистифицировать своего высокого покровителя. В крайнем случае он скорее сослался бы на какие-нибудь анонимные устные предания, нежели на источник, подлинность которого поддавалась еще проверке.

Во-вторых, отрывок о «русском принце» появился в «Хронике» И. Кернера не случайно. Он органически включен в те ее разделы, которые непосредственно касаются событий 1775 г. в Хлумце и прилегающих районах. А это чрезвычайно существенно. Это были именно те места, где к середине марта накал классовых противоречий в деревне достиг высшей точки и, в частности, привел к кровавому столкновению повстанцев с правительственными войсками, о чем будет сказано далее. Не менее важно и то, что с этой местностью была связана судьба роудницкого крестьянина Яна Хвойки, которого власти с перепугу сочли было за одного из «сельских императоров». Правда, вскоре, поняв ошибку, его отпустили на все четыре стороны. Суть дела заключалась в том, что восставшие крестьяне силой заставили Хвойку, богобоязненного зажиточного седлака, помочь получить от хлумецкого управляющего нужный им документ.

Позднее сам Хвойка сочно и, по-видимому, достоверно описал в стихотворной «Жалобе» свои злоключения. Для нас важны первые куплеты этого своеобразного образчика народной чешской поэзии XVIII в. По содержанию они относятся к обстоятельствам вовлечения Яна Хвойки в мартовское восстание:

В этом бунте сельском  
 Был и я замешан —  
 Признаюсь я сам.  
 Но не знал заране,  
 Пока те крестьяне  
 Не прибыли к нам.  
 Пришел ко мне смелый

Парень. Был веселый,  
 Прыгал, танцевал.  
 «Расставайся с домом,  
 На панов идем мы», —  
 Так он мне сказал,  
 Начал я смеяться,  
 Правды добиваться:  
 «Сколько же вас там?» —  
 «Не пытай так строго,  
 Нас ведь очень много.  
 Да увидишь сам».  
 Глянул я из двери  
 И глазам не верю:  
 Пребольшой отряд!  
 Все полны отваги.  
 И в руках не шпаги —  
 А цепи вертят.

О приключениях Я. Хвойки и о его стихах И. Кернер пишет в своей хронике. Примечательно, что рассказ об этом он пытается увязать с сообщением о «русском принце». Приводя значительную часть «Жалобы», И. Кернер дважды обращает внимание на то место, в котором Хвойка объяснял свое вынужденное участие в восстании приказом какого-то «смелого парня» (перевод этих строк мы только что приводили). Одновременно И. Кернер весьма осторожно выдвигает предположение, не являлся ли этот человек самозванным «русским принцем»? Вот его слова, непосредственно следовавшие за цитированным выше отрывком: «Не мог ли он быть тем самым неизвестным молодым человеком, который выманил Хвойку из его мирной деревни? Однако я не понимаю, как он, сам повелитель, мог передать Хвойке предводительский жезл; разве что для этого он по многим причинам имел какие-то серьезные основания?» Как бы ни оценивать догадку И. Кернера, к которой мы позднее вернемся, его размышления безусловно свидетельствовали, что он относился к упоминаемому письму из городского архива со всей серьезностью и пытался найти ему подтверждение в других современных источниках.

И, наконец, содержание этого письма: ведь в нем отнюдь не говорилось, что в Чехии появился настоящий русский принц. Наоборот, недвусмысленно утверждалось, что этот человек лишь выдавал себя за такового, т. е., иными словами, являлся самозванцем. Было ли это невероятным само по себе? Достаточно напомнить, что местные и центральные австрийские власти, особенно в марте и апреле 1775 г., получали немало донесений о подлинных и мнимых «сельских императорах» и «королях». С этой точки зрения появление еще одного известия, в котором в роли очередного самозванца фигурировал бы «русский принц», ничего невероятного в себе не заключало. Наоборот, это вполне вписывалось в тревожную для австрийского правительства обстановку тех месяцев.

Нет, следовательно, веских оснований игнорировать сообщение И. Кернера о «русском принце» или подозревать автора в сознательной мистификации. Источник, который он использовал и цитировал в «Хронике», по-видимому, действительно существовал. Но признание этого не снимает другого вопроса — какова степень достоверности самой информации недошедшего до нас письма из архива Градца Кралове? Что отразилось в нем: подлинные события весны 1775 г. или фантастические домыслы, слухи? Чтобы ответить на подобные вопросы, постараемся произвести параллельный, сопоставительный анализ отдельных блоков информации градецкого письма с общей обстановкой, сложившейся в районе предполагаемой деятельности «русского принца». В любом случае эта проблематика важна для выявления степени и характера славянских, в том числе и русских, симпатий в чешской народной среде.



. . . В восточных частях Градецкого края, у Хлумца и Нового Быджова появился крестьянский повстанческий отряд — таков первый информационный блок градецкого письма.

Буря народного гнева, закипевшая в начале 1775 г. и разразившаяся около 20 марта, вскоре охватила не только чешский север и северо-восток, эпицентр восстания, но и значительную часть Полабья. Бунты и отказ от выполнения феодально-барщинных повинностей в отдельных поместьях сочетались с более широкими действиями в духе «пяти пунктов» (их содержание мы приводим ниже). Крестьяне, захватывая с собой цепи, колья, объединялись в отряды, численность которых колебалась от нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч человек. Эти отряды продвигались по территории Градецкого, Болеславского, Быджовского, Литомержицкого и других краев, постепенно концентрируясь неподалеку от Праги.

Известно несколько случаев, когда фактически безоружные крестьяне, пылавшие ненавистью к своим угнетателям, с отчаянием обреченных набрасывались на вооруженных до зубов карателей.

Среди активных участников восстания, как показали исследования чехословацких ученых, находились тайные антикатолики Чешских земель, прежде всего представители народных социально-утопических сект. Современники тех событий нередко именовали их обобщенно «гуситами» и «беранковыми братьями» (последнее на русский язык может быть переведено примерно как «христовы братья»). Впрочем, под религиозными покровами здесь нередко скрывались крестьянско-плебейские формы оппозиции феодализму. Как подчеркивал В. И. Ленин, «выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития» [6, с. 228]. И в Чешских землях рассматриваемого времени крестьяне-некатолики ощущали на себе с особой силой тяжесть не только социального, но и религиозного угнетения, вызванного курсом контрреформации, который проводили Габсбурги. Одним из средств борьбы против такого угнетения для этих кругов являлось сознательное сохранение, спасение памятников чешской народной письменности. При этом в той или иной степени здесь улавливались и отзвуки гуситских революционных традиций. Но традиции эти не были чужды и массам чешского рядового сельского и городского населения, формально принадлежавшего к господствующей католической церкви, но не утратившего этнического самосознания. Не случайно убежденный католик Ф. М. Пельцль записал 16 января 1781 г. в своем дневнике: «Каждый чех, который только читает чешские книги и знает историю своей родины, немного гусит» [85, с. 116].

И вполне закономерно, что гуситские традиции в разных проявлениях дали знать о себе в период Крестьянского восстания 1775 г. Так, уже на его первом, весеннем этапе, по сообщениям русского посла в Вене Д. М. Голицына, в рядах противников католицизма, или, как он писал «остатков древних гуситов», выдвигались требования свободы совести [11, 1775 г., № 567, л. 43]. Одним из наиболее ярких и характерных примеров такого рода явилась массовая сходка крестьян на Липском холме в Коуржимском крае: она состоялась 21 июля у так называемой могилы Прокопа Великого, замечательного предводителя революционной армии таборитов XV в. То была открытая политическая демонстрация народа, идейно осознавшего свою нерасторжимую связь с героической борьбой предков за свободу.

Территории вокруг Хлумца и Нового Быджова были богаты рощами и лесами, уходившими далеко на север и северо-восток Чехии. Эти, в то время сравнительно глухие и нередко малонаселенные области, где еще сохранялись следы разрушений Тридцатилетней войны, давно уже стали прибежищем для лиц, преследовавшихся властями по религиозно-политическим и иным мотивам. Не удивительно, что здесь исподволь возникали бродильные элементы накапливавшегося социального протеста. Примечательно, что окрестности между Хлумцем и Новым Быджовым являлись в марте важным районом скопления повстанческих сил. В своем донесении 31 марта в Вену

военно-полевой комиссар Ланг уведомлял, что в Быдзовском и Градецком краях число повстанцев доходило до 20 тысяч человек. Они были разделены на несколько отрядов, во главе которых стояли командиры. Силы повстанцев, как писал Ланг, трижды предпринимали попытки атаковать Хлумец и Новый Быдзов. Но как раз эти места в канун восстания принадлежали к числу районов наибольшего сосредоточения сил противников режима Габсбургов. Об этом писали многие современники. Тот же самый И. Кернер называл Хлумец, Кратонохи и прилегающие селения в ряду важнейших гнезд народного свободомыслия. В записях, относившихся к 1775 г., уже знакомый нам либезницкий священник И. В. Парубек, например, отмечал: «Восстали крестьяне у Оночно, Смиржниц, Хлумца и в окрестностях Градца Кралове; они желали иметь свободу как для тела, так и для духа и называли себя беранковой веры» [141, с. 86].



**Памятник около г. Хлумец (ЧССР) в честь крестьян-повстанцев, вступивших в марте 1775 г. в схватку с войсками Марии Терезии. Создан в 1940 г. известным чешским скульптором и художником Якубом Обровским (1882 — 1949)» Снимок с натуры.**



**Фрагмент памятника в Хлумце.**

Неудивительно, что эти места стали свидетелем первого или, во всяком случае, одного из первых открытых столкновений повстанцев с правительственными войсками. Оно произошло в полдень 25 марта у Хлумца, когда крестьяне готовились к штурму помещичьего замка, где, как они полагали, был спрятан «золотой патент». Против них выступили регулярные части — пехота и драгуны. Силы были неравны, но восставшие не бежали. Пустив в ход вилы, цепи и камни, они приняли бой на плотине у пруда. Вскоре повстанцы были разбиты. Сведения об их потерях весьма противоречивы. По одним данным было убито пять крестьян и одиннадцать взято в плен; по другим же сведениям

число убитых достигло 135 человек, а пленных — более 300 человек. Несколько крестьян утонуло в пруду. Но кровавая расправа не устрасила повстанцев. Уже 26 и 27 марта они стали собирать силы — на этот раз для похода на сам Хлумец, чтобы наказать горожан за поддержку ими действий правительственных войск. Мятежники рассылали по округе письма с призывом к крепостным собраться у стен города. Вскоре показался еще один крестьянский отряд, во главе которого находился отставной солдат. Он заявил: «Мы не боимся императорских войск, нас около Хлумца целых четыре тысячи» [142, с. 102]. Армии снова пришлось применить оружие, в результате чего было убито несколько человек, а около пятидесяти взято в плен. При этом, преследуя крестьян, войска обнаружили в лесу новый отряд из 1200 человек, направлявшийся на соседний город Горжиневси. Боевой дух в хлумецкой округе продолжал сохраняться, и еще в мае повстанцы угрожали сжечь Хлумец за предательское поведение тамошнего мещанства. Таким образом, места гипотетического пребывания «русского принца» весной 1775 г. в самом деле являлись зоной деятельности организованных отрядов повстанцев.

*« . . . Во главе их стоит молодой человек, который выдает себя за изгнанного русского принца»* — таков второй информационный блок градецкого письма.

Приведенные выше наблюдения позволяют констатировать, что территория у Хлумца и вокруг него относилась к районам наибольшей активности повстанцев. Создавало ли это объективную ситуацию для реализации идей народного самозванчества? Обратимся вновь к фактам. Одним из участников местной повстанческой колонны, направлявшейся на Прагу, был крестьянин Вацлав Крил (Грил). Он происходил из расположенной севернее Градца Кралове деревни Чернилов, неподалеку от Миржице. Крил принадлежал к типу народного проповедника, был не просто грамотным, но и не лишенным литературных дарований человеком. Об этом, в частности, свидетельствовали сочиненные им стихи о приключениях во время событий 1775 г. Крил выступал как против католицизма, так и против протестантизма. Он заявлял, что близится час, когда крестьяне скинут господ, а сам он станет королем освобожденных крепостных. Проповедническая деятельность Крила сильно беспокоила власти. В августе 1775 г. его арестовали и преследовали в последующие годы — умер он в 1810 г. Правда, Крил так и не выступил (а может быть, не успел выступить?) в роли «сельского короля». Но многое в его поступках и словах показывало, что эволюция здесь шла в таком именно направлении.

Едва ли, например, случайным было то, что из четырех кандидатов в «сельские императоры», которых разыскивали в конце марта власти, двое были непосредственно связаны с окрестностями Хлумца. Одним был Ян Хвойка, другим — таинственный Подивин Садло, к которому мы еще вернемся. Вот хроникальная запись Карла Ульриха, мещанина города Бенешов. В ней говорится: «1775 год. Потрясающие, ужасные известия доносились о мятеже крестьян около Хлумца и Градца Кралове, где они чинили людям зло, грабили костелы, убивали народ. У них был предводитель, который назывался Сабо и бесстыдно разглашал фальшивый декрет. Как только об этом стало известно при дворе и нашему государю императору Иосифу, он приказал войскам схватить их и уничтожить. Они решили сопротивляться и приняли бой. Главнейшая причина заключалась в том, что они хотели исповедывать веру беранков и гуситов» [146, с. 52]. При оценке этой записи нужно помнить, что автор ее не только не симпатизировал восстанию, но, как видно, относился к нему крайне отрицательно, даже злобно. Нельзя не учитывать и того, что город Бенешов, в котором он жил, весной 1775 г. в районы активных повстанческих действий не входил. Да и сам Карл Ульрих ссылался на доносившиеся до него «ужасные известия», т. е. на слухи. И все же, внимательно вчитываясь в приведенные строки и делая необходимые скидки и на авторскую позицию и на степень достоверности его информации, трудно отвлечься от мысли, что речь идет о чем-то знакомом.

В самом деле, одним из пунктов, где протекали описываемые события, Карл Ульрих называет окрестности Хлумца. Далее, у предводителя повстанцев, по его словам, был какой-то «фальшивый декрет». Наконец, когда власти бросили войска против

мятежников, те решили принять бой. Что же все это напоминает? Разумеется, действия повстанцев под Хлумцем, которые привели к кровавому столкновению с солдатами на берегу пруда 25 марта 1775 г. А «фальшивый декрет» — скорее всего та бумага об отмене барщины, которую крестьянам, под их нажимом, выдал управляющий местного поместья. Но ведь невольным участником появления такой бумаги на свет был никто иной, как Ян Хвойка, описавший все это в своей стихотворной жалобе, отрывки которой приведены выше. В них, как мы помним, Хвойка со всей определенностью утверждал, что сделал это по повелению «смелого парня», ни имени, ни прозвища которого не называет.

Это странно. Нам уже приходилось отмечать, что едва ли Я. Хвойка не слышал, как повстанцы называли «смелого парня», из-за которого он претерпел столько неприятностей. А если слышал, знал, но по каким-то причинам не захотел называть, то не зашифровал ли это, вольно или невольно, в своей «Жалобе»? Напомним, что в первых ее, цитировавшихся выше, куплетах, содержится, на первый взгляд, противоречивое описание анонимного крестьянского вожака. С одной стороны, это молодой человек, «смелый парень», предводитель организованного отряда — таким увидел его Я. Хвойка. С другой — это человек, который ведет себя как-то странно, даже ернически: «Был веселый, прыгал, танцевал» (в оригинале буквально: «крутился на одном месте», «извивался всем телом»). Однако странность эта кажущаяся.

Конечно же, войдя в дом Хвойки, «смелый парень» уразумел, с кем имеет дело. Если Хвойка — пародия на повстанца, «повстанец наоборот», то и ситуация, в которую его поставили обстоятельства, это, по определению Д. С. Лихачева, «мир перевернутый, реально невозможный, абсурдный, дурацкий» [69, с. 15]. Это типично народное представление о смехе, о комическом и определило поведение крестьянского вожака. Оно полно насмешливого глумления над трусоватым и зажиточным седлаком — «смелый парень» (характерен даже этот эпитет «смелый») играет роль шута, чудачествует. Но ведь «Подивин» — имя, которым в документах того времени называли Садло, (или Сабо) — как раз и означает в переводе «чудак», если читать это чешское слово не с прописной, а со строчной буквы. Правительственные чиновники, действовавшие в критические для властей мартовские дни 1775 г., да еще плохо или вовсе не знавшие чешского языка, собирая слухи о «сельских императорах», вполне могли принять кличку за собственное имя. Если наши предположения справедливы, то возникает возможность отождествить «смелого парня» из стихотворной «Жалобы» Яна Хвойки с Сабо из делопроизводственной документации 1775 г.

Дело в том, что доподлинно в конце концов неизвестно, кто был предводителем повстанческого отряда, заявившего о себе под Хлумцем. Но то, что такой предводитель здесь, как и в других крестьянских отрядах, должен был существовать — несомненно: о такой практике свидетельствуют многие источники. Вожаком действовавшего в этих местах отряда Карл Ульрих, как мы видели, называл Сабо. Может быть, автор, пользовавшийся слухами и писавший несколько позже происходивших событий, допустил ошибку? Нет, его информация подтверждается датированным 2 апреля 1775 г. сообщением литомержицкого епископа Э. А. Вальдштейна, т. е. сообщением, составленным по горячим следам событий [143, с. 340]. Касаясь происшествий «в быдзовских окрестностях» (вновь знакомые нам места!), литомержицкий епископ не просто приводит имя Сабо как предводителя повстанцев, но и сообщает, что сами крестьяне величали его своим вождем.

Совпадение места и времени действия отряда Сабо и отряда «смелого парня», в составе которого волею судеб оказался незадачливый Ян Хвойка, примечательно. Оно наводит на мысль, что оба они — «смелый парень» и Сабо — были одним и тем же лицом. Но в таком случае таинственный и многоименный Сабо—Садло—Сальвин, которого упорно разыскивали власти, испаряется, а вместо него проступает фигура смелого вожака одного из повстанческих отрядов, заявивших о себе где-то между Хлумцем и Новым Быдзовым.

Мы уже ссылались на осторожное предположение И. Кернера, что «русский принц», охарактеризованный в донесении как «молодой человек», может быть отождествлен с молодым же «смелым парнем» из «Жалобы» Яна Хвойки. Правда, автор «Хроники» сразу же сделал оговорку, полный текст которой так же приведен нами выше. Смысл ее, как мы помним, заключался в следующем; непонятно, в силу каких причин «русский принц» решился добровольно передать Хвойке «предводительский жезл»? Отбросив эту важную оговорку И. Кернера, пользовавшийся его материалами И. Ауштечки в 1859 г. написал: «Тот молодой человек, который выманил Хвойку из Роудницы и принудил к участию в восстании, выдавал себя за изгнанного русского принца» [131, с. 41]. Но столь прямолинейная передача мыслей И. Кернера не соответствовала общему ходу его размышлений. Между тем на уровне знаний той эпохи сомнения И. Кернера имели под собой реальные основания.

В самом деле, вплоть до недавнего времени считалось, что Ян Хвойка как «сельский император» сыграл в хлумецких событиях чуть ли не решающую роль. Так думал и Кернер. Понятно, что ему, добросовестному хронисту, было сложно в таких условиях обосновать свою догадку. «Разве что для этого он по многим причинам имел какие-то основания», — замечал о поведении «смелого парня» автор «Хроники». Но теперь, после исследований чехословацких историков, выяснена ничтожная доля участия Хвойки в событиях 1775 г. В соответствии с этим смущавшие И. Кернера опасения полностью отпадают: «смелый парень» вовсе и не собирался передавать Яну Хвойке «предводительский жезл». Тем самым догадка Кернера обретает новую жизнь, существенно повышая доверие к записи добросовестного кратоножского священника в целом. Характерно, в частности, что с версией И. Кернера не вступает в противоречие совокупность прямых и косвенных свидетельств, восходящих к эпохе восстания. Более того, свидетельства эти, подтверждающие друг друга, вполне отвечают догадке И. Кернера, очищенной новейшими исследованиями от его сомнений: «изгнанный русский принц» и «смелый парень» Яна Хвойки — понятия равнозначные. В свою очередь мы полагаем возможным отождествить со «смелым парнем» повстанческого вожака Сабо (Подивина Садло). Это позволяет с большей долей вероятности считать, что «смелый парень», Сабо и «русский принц» были не разными персонажами, а представляли собой лишь разные обозначения одного лица — героя чешской легенды из градецкого письма. Но неподалеку от этих же мест проповедовал, как мы указывали, о своем грядущем приходе в качестве крестьянского короля Вацлав Крил. Все это превращало зону известий о «русском принце» в своего рода плавильный котел, в котором к весне 1775 г. создались благоприятные предпосылки для возможного проявления идей народного самозванчества.

*«... Он утверждает, что как славянин добровольно приносит себя в жертву делу освобождения чешских крестьян»* — таков третий информационный блок градецкого письма.

В этих словах заключено несколько смысловых оттенков, составляющих, быть может, квинтэссенцию всего отрывка о «русском принце» — объяснение цели и мотива его объявления в Чешских землях. Цель — борьба за свободу крестьян, причем не всех вообще, а именно чешских; мотив — национальная близость русских и чехов: «как славянин». Здесь, следовательно, подчеркивается этнический аспект происшедших событий, который, разумеется, существовал, но, согласно выводам чехословацких исследователей, решающего значения в период восстания 1775 г. не играл. Движение в Чешских землях носило не национальный или религиозный, а в первую очередь социальный характер. В нем единым фронтом участвовали крестьяне как чешского, так и местного немецкого происхождения. Не вступает ли этот вывод в противоречие с приведенным фрагментом градецкого письма?

Действительно, наиболее общим требованием повстанцев была «свобода». На практике это означало борьбу с ненавистной барщиной. Ярким документом классовой солидарности крестьян являлась, например, прокламация «От немцев с гор», которая от

имени чешских и немецких крепостных из окрестностей Броумова и Смиржице распространялась из рук в руки и из уст в уста в двадцатых числах марта 1775 г. В ней говорилось: «Во-первых, чтобы никто не выходил на барщину, ни на платную, ни на даровую. Во-вторых, что они на барщину не разрешают ни ехать, ни идти. В-третьих, чтобы каждый запасся хлебом на три дня и ожидал сигнала постоянно, как днем, так и ночью. В-четвертых, когда услышат набатный колокол, чтобы все пришли на этот зов. В-пятых, те дома, которые брошены своими хозяевами, можно разграбить и поджечь» [143, с. 58]. Как указывал И. Петрань, эти «пять пунктов» обычно распространялись эмиссарами повстанцев по деревням предварительно, до подхода туда отрядов восставших крестьян из других поместий.

Однако несомненная и осознававшаяся ими общность социальных интересов не исключала объективно существовавших языково-культурных различий между крестьянами чешского и немецкого происхождения. И потому, например, чешские крестьяне из числа тайных некатоликов во время локальных бунтов предшествовавших десятилетиям неоднократно требования отмены или снижения барщины сочетали с требованиями веротерпимости и права беспрепятственного чтения книг на родном языке. А это, независимо от конфессиональных различий, было близко всей массе чешских крестьян. Ведь именно они, а отчасти и демократические круги городского населения, в наиболее тяжелые периоды контрреформационной политики Габсбургов, стремившихся вытравить из памяти народа прогрессивные традиции прошлого, выступили в роли хранителей родного языка и способствовали сохранению отечественной литературно-письменной традиции. И. В. Парубек как католический священник, отнюдь не симпатизировавший «беранковым братьям», в своих записках отмечал, что они подбивали крестьян у Хлумца и в других местах Градецкого края идти на Прагу, чтобы «получить свободу, которая там запрятана в губерниуме». Речь, разумеется, шла о мифическом «золотом патенте», но одновременно, как мы видели в приведенной выше цитате из хроники Парубека, восставшие «желали иметь свободу как для тела, так и для духа» К последнему относилось и обеспечение национальных прав чешских крестьян.

Участники восстания не просто провозглашали свои требования, но порой оформляли их в виде надписей на знаменах, т. е. графически. К сожалению, сведений на этот счет сохранилось мало. Но все же они сохранились. Так, из Хрудима, расположенного к юго-востоку от Хлумца, сообщалось 1 апреля, что у повстанцев было знамя с надписью: «Свобода или смерть». «Русский принц» согласно тексту, приводимому И. Кернером, утверждал что «добровольно приносит себя в жертву». Такое заявление в сущности и составляет содержание девиза: «свобода или смерть» [143, с. 310. Буквально: «свобода или жизнь»].

Но для того чтобы приписанная самозванному «изгнаннику» мотивировка «как славянин», да и само определение «принца» как «русского» имели мобилизирующее значение, должна была, очевидно, существовать однородная в этническом отношении среда, в которой подобная акцентировка имела бы реальный смысл. Иными словами не названный по имени «молодой человек» должен был возглавлять повстанческий отряд крестьян чешского происхождения. Зафиксированы ли действия такого отряда в районе нахождения «русского принца»?

Ответ на этот вопрос неожиданно дает Э. А. Вальдштейн в сообщении об отряде Сабо, которого, как мы уже упоминали, крестьяне называли «вождем». В этом сообщении, однако, есть важный нюанс, заслуживающий внимания: в немецком тексте литомержицкого епископа встречается одно единственное слово, написанное по-чешски. И это слово — «вождь» («vudce», в орфографии документа «Wucze»). Оно выглядит как прямая цитата обращения, которым пользовались крестьяне отряда по отношению к своему предводителю. Отсюда следует что отряд Сабо полностью или, по крайней мере в преобладающей части состоял из крестьян-чехов.

Играл ли этнический аспект какую-то, хотя бы подчиненную, роль в период восстания? Известно что прусский король Фридрих II, как и его отец, зарясь на земли чешской короны, демагогически выставлял себя покровителем проживавших здесь тайных протестантов. В силу этого Мария Терезия смотрела на них как на своих скрытых врагов. И действительно, в определенных кругах протестантов Чешских земель немецкого и чешского происхождения во время событий 1775 г. возникло «Письмо жителей Хрудимского и иных краев» к Фридриху II с призывом оказать прямую военную помощь [145, с. 132—133]. Однако реально участие приверженцев протестантизма в восстании, как показал И. Петрань, было весьма скромным. И акции, подобные этому «Письму», сколько-нибудь широкого отклика, а тем более поддержки среди чешских крестьян не встречали. Наоборот, в народном сознании прусский король рассматривался обычно как неприятель. Другое дело — Россия.

Хотя к тому времени официальные отношения между Веной и Петербургом были довольно холодными и сложными, в прошлом между обеими странами существовали тесные дипломатические и военно-политические контакты. В сочетании с давними традициями чешско-русских связей этот фактор оказывал дополнительное воздействие на усиление в различных слоях чешского общества, включая крестьянство, русских и общеславянских симпатий.

Любопытным подтверждением сказанному может служить деятельность группы моравских протестантов из всетинского поместья. В нее входили староста Ян Грушка, евангелический проповедник Ян Маниш и Марк Бубела, еще в 1773 г. бежавший от религиозных преследований в прусскую часть Силезии. Они надумали передать петицию русскому послу в Польше Н. В. Репнину, который в качестве представителя России должен был принять участие в мирном конгрессе в Тешине по урегулированию австрийско-прусского конфликта 1778—1779 гг. из-за Баварии. Замысел окончился безрезультатно, поскольку австрийские власти, узнав о готовящейся акции, арестовали ее участников и изъяли текст петиции. Хотя приведенный пример непосредственно относился к 1779 г., переориентация на Россию, как можно заключить из источников, началась несколькими годами ранее, скорее всего незадолго до восстания 1775 г. И такие настроения получили, видимо, настолько широкое распространение, что Вене приходилось пристально следить за ростом прорусских симпатий в крестьянской среде.

Можно согласиться с мнением Я. Вавры, что славянское сознание, если понимать под ним некую систему взглядов, в народной среде к середине 1770-х гг. еще не сложилось. Однако и для идеологов чешского национально-культурного движения выработка концепции всеславянства оставалась еще делом будущего. Зато подготавливавшие это русские и общеславянские симпатии, как свидетельствуют многочисленные факты, уже тогда начали входить составной частью в формировавшееся чешское национальное самосознание. Поэтому едва ли бесспорны подозрения Я. Вавры в том, что слова «как славянин», которыми, по утверждению градецкого письма, «русский: принц» мотивировал свой «приход» в Чехию, являлись позднейшей вставкой И. Кернера. Во всяком случае, общий духовный контекст того времени делал вполне правдоподобными цели и мотивы «русского принца», если не для всей массы чешского крестьянства, то, по крайней мере, для некоторой его части.

Анализ основных информационных блоков градецкого письма показывает, что в главном, а порой и в частности их содержание подтверждается фактами, о которых известно по другим материалам. Следовательно, не только существование данного источника, но и заложенные в нем сведения могут быть признаны в целом достоверными.

### **Тень Пугачева**

Что же в таком случае представлял собой «русский принц» — реальность или вымысел?

Вот, например, к какому выводу приходил Я. Вавра, последний, кто специально исследовал эту тему. «Нельзя исключать, — писал он, — что в возбужденной обстановке тех мятежных дней кто-то из повстанцев объявил себя «изгнанным русским принцем», что он встал как самозванец во главе целого отряда. Вместо с тем вероятнее всего, что взвинченная фантазия обездоленного и отчаявшегося народа, который поднялся на восстание, создала в качестве предводителя одного из отрядов образ «русского принца», который добровольно явился, чтобы пожертвовать собой в борьбе за свободу чешского народа, как и его отец пожертвовал собой в борьбе за свободу народа русского» [152, с. 154].

Вывод интересный, во многом справедливый, но не бесспорный и оставляющий без ответа или недостаточно обосновывающий ряд существенных вопросов. Так, автор исходит из предположения, что самозванный «русский принц» был либо реальным лицом, либо, скорее всего, порождением народной фантазии — но при этом он отрицает наличие в чешской народной среде славянского сознания (не поясняя, какой смысл он вкладывает в этот термин). Но почему в таком случае народная фантазия назвала «изгнанного принца» русским, а, скажем, не французом, голландцем, немцем или представителем еще какой-либо национальности? И чьим, собственно, «сыном» могли его воспринимать?

Думается, что дихотомия «либо реальное лицо, либо фантазия» едва ли вообще применима при анализе такого круга материалов. Ведь история самозванчества свидетельствует, что за самыми неожиданными, порой фантастическими версиями, порожденными народным мировоззрением, всегда в конечном счете стоят в преобразованном виде какие-то исторические реалии и действительно существовавшие лица — либо как индивидуальности, либо как обобщенные персонажи. Такие, например, доподлинно существовавшие самозванцы, как Емельян Пугачев в России и Степан Малый в Черногории, выступали, как убедительно продемонстрировал К. В. Чистов, в роли живых носителей, а отчасти и творцов различных вариантов легенды о Петре III как «царе-избавителе». Почему же нечто подобное, хотя бы и полностью не тождественное, не могло произойти и в случае с «русским принцем»? Попробуем подойти к информации о нем как к легенде, у истоков которой находился конкретный или собирательный образ повстанческого вожака, апеллировавшего не только к социальным, но и к национальным настроениям крестьян, во главе которых он встал.

Насколько позволяют судить источники, наиболее вероятным его прототипом был Сабо. К сожалению, практически невозможно ответить на вопросы — кем был человек, который носил (или которому молва присвоила) имя Сабо, откуда он явился и куда исчез? И был ли он в самом деле арестован, как считал Э. А. Вальдштейн? Логично предположить, что в таком случае должны бы были сохраниться какие-то следы в следственных материалах, как о большинстве других активных участниках восстания — протоколы допросов, показания свидетелей, хотя бы какие-то документальные отзвуки. Но ничего подобного, кроме противоречивой, путаной и не слишком надежной информации, нет. Все это позволяет думать, что Сабо, если его даже и задержали, сумел скрыться. Не потому ли осторожный и опасливый Ян Хвойка умолчал на всякий случай об имени или кличке «смелого парня», хотя, например, имя хлумецкого управляющего Антонина Пича назвал точно? Вообще, некоторые модификации имени Сабо (Садло, Сальвин, Сальбие и др.) походят скорее на кальку чешских и немецких слов, которые в повстанческой среде могли употребляться как прозвища и клички. Так, «садло» по-чешски означает «сало», а по-немецки «Salvei», «Salbei» — означает «шалфей». Конечно, подобное этимологизирование не всегда надежно. Но полностью исключать возможную семантическую нагрузку слов-фамилий или кличек тоже не следует. Что такое, например, «Сальвин»? Э. А. Вальдштейн, воспроизводя версию об аресте Сабо, указывал, что тот при задержании «хотел спастись» — в тексте немецкого оригинала «*wolte sich salwieren*» [143, с. 340]. Не это ли созвучие, приводившее к произвольной игре слов («сальвилен» — «Сальвин») породило в обстановке мартовской неразберихи у правительственных



агентов и чиновников еще один вариант фамилии крестьянского предводителя? Но допустимо выдвинуть и другое предположение: в официальном сознании такое написание могло возникнуть как реальный, но искаженный перевод с чешского языка слова «спасенный», «спасшийся». Но ведь определение «изгнанный» к сочетанию «русский принц» вполне могло восприниматься в крестьянской среде как синоним слов «чудесно спасшийся» — важнейшего элемента народного самозванчества.

Обращает на себя внимание, что источники тех лет упорно аттестуют Сабо (Подивина Садло) как в Чехии человека чужого, пришельца. То ли голландца, то ли француза, то ли венгра. Это любопытно, если считать, что за «русским принцем» стоял Сабо. Не идут ли от него следы в Россию? Вспомним, что в войсках Пугачева попадались и добровольцы иностранного происхождения. Их этническая принадлежность обозначалась не всегда точно, а иногда — обобщенно. Среди «саксонов», например, были не только немецкие, но и другие иностранные колонисты — французы, шведы, может быть еще чехи.

Сабо, по одной из версий, венгр. Но в те десятилетия, да и позднее, венграми именовали не только мадьяр, но и лиц других национальностей, живших в пределах Венгерского королевства. В его состав входила и Словакия. Поэтому вполне вероятно, что «венгр» Сабо в действительности был словаком. В пользу этого имеются два косвенных предположения. С одной стороны, «русский Принц», как указывалось в градецком письме, называл себя славянином. Так в XVIII в. часто обозначали себя Словаки: «словак» и «славянин» воспринимались в качестве синонимов. С другой стороны, чешский и словацкий языки не только родственные, но и очень близкие. В нашем конкретном случае, например, слова «Подивил Садло» (или: «подивил Садло») по-чешски и по-словацки звучат одинаково и означают то же самое. Вообще словакам несравненно легче, нежели людям других национальностей (в том числе и славянских), разговорное общение с чехами. Л ведь повстанческий отряд Сабо состоял, как мы выяснили, из чешских крестьян. Если согласиться с приведенной аргументацией, то не был ли словак Сабо очевидцем или участником пугачевского движения? И не мог ли он, спасаясь от преследований карателей, бежать в конце 1774—начале 1775 г. в Чехию, где и выступил в роли своего рода партизана — «пугача»? Это пока предположение, не лишнее, впрочем, доли вероятия.

Но если Сабо и «смелый парень» стояли в народном сознании за образом «изгнанного русского принца», то легенда о нем и о его освободительной миссии имела чешское происхождение.

Истоки ее следует искать прежде всего в народной литературе и фольклоре чешского происхождения. С этой точки ирония привлекают к себе внимание произведения чешской письменности, восходящие к XV в. и трактующие о скором явлении избавителя — так называемые «королевские повести» (прямым их воплощением уже тогда, в 1445 г., было появление самозванца в Стадицах, легендарном месте происхождения первого чешского князя Пшемисла) и «пророчества». В невыносимо трудной для чешского народа обстановке XVII в., связанной с утратой государственной независимости, войнами и разорением страны, проведением Габсбургами политики контрреформации и жестокого преследования «еретиков», эти жанры оживают вновь. Популярность, в частности, приобретают «пророчества»), создававшиеся и распространявшиеся противниками католицизма. Среди таких произведений выделялось, например, «пророчество» Гавласа Павлаты, мещанина из Крконош, горного края северо-восточной Чехии. После всех страданий, которые суждено претерпеть народу, утверждалось в этом «пророчестве», в Чехии «будет добрый король, который поведет богобоязненную и святую жизнь. . . и епископ его. И по будет тогда ни папы римского, ни императора» [139, с. 00]. В XVIII в. «пророчества» и «королевские повести» получили дальнейшее распространение не только в протестантской и сектантской, но и в более широкой, формально католической, чешской сельской и городской народной среде.

«Королевская повесть, — отмечал известный чехословацкий литературовед И. Грабак, — иногда соединялась с пророчеством о короле Марокане, которое в какой-то форме циркулировало в народе уже в эпоху крестьянского восстания 1775 г. и накануне вторжения прусского короля Фридриха в 1778 г.» [134, с. 482].

Поскольку же «своего» короля в Чешских землях не было (после 1620 г. им считался правящий австрийский монарх), в народе рождались разнообразные представления о личности такого «избавителя». Н одних случаях фигурировали вымышленные, сказочные персонажи. Так, в Моравии была популярна повесть о короле Ячменьке. Его имя, кстати сказать, подтверждает нашу догадку о возможной семантике разных модификаций имени Сабо («сало», «шалфей»). В других случаях на роль «избавителя» выдвигались те или иные царственные особы. И в той же мере, в какой закономерной стала в ходе восстания 1775 г. мифологизация личности Иосифа II и появление Лжеиосифов, закономерным явилось обращение чешского народного сознания к русской теме. В узком смысле слова легенда о «русском принце» представляла собой вариант чешских сказаний об ожидавшихся государях-избавителях, в широком смысле она была одним из проявлений русско-славянских симпатий в сфере чешской народной культуры. Непосредственным, решающим толчком явились отзвуки на события Крестьянской войны в России под руководством Емельяна Пугачева. И «русский принц» из-под Хлумца явился своеобразной тенью Пугачева в Чехии. Показательно, что в пророчестве о короле Марокане, которое стало популярным в 1780-х гг., но, по наблюдениям И. Грабака, возникло десятилетием ранее, предсказывался скорый приход государя-избавителя именно с Востока. А этим словом, как мы помним, у южных славян, в том числе и проживавших в пределах Австрийской монархии, иносказательно называлась Россия. Эта деталь, выявленная чешским историком Ф. Кутнарком, сыграла, по мнению Я. Вавры, существенную роль в формировании легенды о «русском принце». Эта легенда и ее центральный персонаж представляла собой сплав подлинных известий, слухов и домыслов о покойном Петре III, главным же образом — о Емельяне Пугачеве. Живой интерес к личности предводителя Крестьянской войны в чешской народной культуре вскоре, всего через два года после восстания, получил закрепление и в профессиональной культуре — в 1777 г. пражанин Франц Карл Гуолфингер, он же рыцарь Штайнсберг, написал пьесу о Пугачеве — первое произведение такого рода не только в чешской, но и в остальных славянских литературах.

Автор пьесы был писателем и актером, принадлежал к просветительским кругам Чехии и поддерживал молодого Йозефа Добровского в его борьбе с обскурантизмом и феодально-клерикальной идеологией. Позднее он принимал участие в театральной жизни Праги, был директором двух театров, а затем, получив выгодный ангажемент, переехал в 1802 г. в Россию и вскоре стал директором и актером немецкой сцены в Москве. Здесь он и умер в 1806 г.

Поскольку текст пьесы о Пугачеве не сохранился, судить о ее содержании можно лишь сугубо предположительно, отчасти — по аналогии. Напомним: в том же году, что и эта пьеса, чешский учитель из-под Йичина Ян Антош создал оперу «Сельский мятеж», в которой образы борющихся крестьян были выведены в сочувственных тонах. Тогда же, в Вене драматург Вайдман с симпатией отобразил в своей пьесе вождя восставших австрийских крестьян XVII в. Ш. Фадингера. Но и в самой Праге просвещенный представитель чешской культуры Ян Фердинанд Опиц, один из современников и очевидцев восстания 1775 г., назвал Пугачева в числе других вождей «крепостных или рабов», борющихся за свободу [151, с. 107]. Такой был духовный контекст рождения первой пьесы Штайнсберга.

К 1779 г. он создал уже пять пьес, названия которых перечислены в анонимной статье «О чешской сцене», опубликованной в солидном «Театральном журнале для Германии», издававшемся в Готе. Последняя из пьес Штайнсберга «Граф Тройберг» была сыграна в театре и сюжет ее, по словам автора заметки, «сделал бы честь Лессингу или

Гете» [149, с. 19]. Что же касается пьесы «Пугачев», то она, судя по дошедшей характеристике, представляла собой драму в двух частях, каждая из которых, по-видимому, имела самостоятельное, законченное значение. Во всяком случае автор анонимной заметки в готском журнале говорил о «Пугачеве» как о двух пьесах. Учитывая общую атмосферу в просветительских кругах, с которыми был тогда тесно связан Штайнсберг, трудно допустить, чтобы он при создании образа Пугачева слепо следовал за негативным тоном официальных документов и газетной информации относительно предводителя Крестьянской войны в России. Логичнее предположить, что герой, чьим именем названа пьеса (что само по себе уже показательно), был выведен как борец за права обездоленных, хотя, по-видимому, далеко не все его дела и поступки встречали одобрение со стороны драматурга-просветителя. Косвенно о такой именно идейно-художественной направленности пьесы свидетельствует ее печальная судьба: пьеса не увидела, кажется, сцены, текст ее не был напечатан, а затем бесследно исчез. Не исключено, что все это явилось следствием цензурных ограничений. И как знать, не отразились ли в этом произведении в какой-либо форме отрывки легенды об «изгнанном русском принце»?

Вообще, легенда эта нуждается в дальнейшем изучении с привлечением дополнительных источников. А в том, что они существуют, нет сомнений. Однако поиски их не могут ограничиваться лишь архивами и библиотеками. Необходимы полевые разыскания в местах, связанных с эпицентром предполагаемой деятельности героя легенды. В этом убеждают результаты поездки, которую автор книги совершил совместно с И. Петранем и этнографом Л. Петраневой в сентябре 1986 г. в Роуднице, Кратонохи, Подебрады и Хлумец. В деревне Роуднице, и частности, местные жители указали подворье (строение 20), некогда принадлежавшее Яну Хвойке, которого по давней традиции именуют «bouglives» (бунтарь, буян). Впрочем, рассказ об этом — особая тема.

Как и народное самозванчество в личине «третьего императора» в России и Черногории, слухи о нем в Чехии — не изолированное и не случайное явление. Они были звеньями одной, если можно так выразиться, металегенды. В руках угнетенных вера в ожидаемого избавителя обретала силу идейного оружия против угнетателей.

## ЛЕГЕНДА ПРОТИВ ЛЕГЕНДЫ

В руках угнетенных вера в ожидаемого героя-избавителя обретала силу идейного оружия против угнетателей. При этом в реальных условиях 60—70-х гг. XVIII в. народное самозванчество получило местную специфику. В России и Чехии, например, антидворянскую, а в Черногорки, где ситуация была иной, национально-освободительную направленность. Но и там, и здесь героем народной легенды становится образ Петра III. Как бы парадоксально это не казалось, исходной точкой подобного вывода была народная оценка не только (и, может быть, не столько) покойного императора, сколько неожиданно пришедшей на смену ему Екатерины II. Ее имя превратилось в антипод имени Петра III с естественным переосмыслением сопряженных с этим исторических реалий. Разумеется, тех, которые становились известны населению. Так легенда народная вступила в противоборство с легендой дворянской. Угнетенные против угнетателей — легенда против легенды. . .

### Пленник власти

Сын захудалого гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и цесаревны Анны Петровны, старшей дочери Петра Великого, будущий император Петр III родился 10 февраля 1728 г. в столице герцогства, северо-немецком портовом городе Киле. Однако судьба новорожденного была predeterminedена еще за несколько лет до его появления на свет: в брачном договоре, заключенном при Петре I в 1724 г., оба супруга отказывались от каких-либо притязаний на российский престол, но царь оставлял за собой право назначить

своим преемником «одного из урожденных божеским благословением из сего супружества принцев» [127, с. 12]. Кроме того, Карл Фридрих, будучи племянником Карла XII, имел права и на престол Швеции. Таким образом, к моменту своего рождения Петр III как наследный гольштейнский принц был запрограммирован в качестве возможного претендента либо на российский, либо на шведский престолы. Его и нарекли со значением: Карл Петр Ульрих. Карл — в честь двоюродного деда по отцовской линии, шведского короля Карла XII, чья военная звезда закатилась в России, под Полтавой. Петр — в честь деда по материнской линии, первого российского императора, сделавшего Россию великой европейской державой. Так причудливо должно было произойти посмертное примирение побежденного и победителя в лице маленького гольштейнского принца.

Два трона (кроме герцогского в Киле) открывали перед ним в будущем две дороги: Киль — Стокгольм и Киль — Петербург. И не от него зависело, по какой из них суждено будет ему пойти: места для свободного выбора не оставалось. Бог эта-то предопределенность, порожденная не какими-то абстрактными, мистическими факторами, а вполне конкретными династическими соображениями, явилась главной пружиной эволюции личности Петра III. Она наложила устойчивый отпечаток и на его психологию, и на его поведение.

Именно поэтому биография Петра III, изначально не принадлежавшего самому себе, легко делится на два неравных по продолжительности периода: нильский (1728—1741) и петербургский (1742 — 1762). А последний в свою очередь на два еще более неравных отрезка: великокняжеский и императорский.

Уже в нильский период судьба не баловала маленького герцога. Вскоре после его рождения мать умерла, и Карл Петр Ульрих рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства. Отец по-своему любил сына, но все помыслы его были направлены па возвращение владений, отнятых Данией. Не располагая ни военной силой, ни финансовыми возможностями, Карл Фридрих возлагал надежды только на помощь со стороны — либо Швеции, либо России. Последней в особенности. Собственно, брак с Анной Петровной и был юридическим закреплением русской ориентации Карла Фридриха.

«Этот молодец отомстит за нас», — нередко говаривал герцог, глядя на своего сына. Впрочем, тот «молодцом» как раз и не был. С детства отличаясь слабым здоровьем, Петр постоянно болел. Тем не менее отец решил воспитывать его по-военному, на прусский лад. Когда Петру исполнилось 10 лет, ему был присвоен чин секунд-лейтенанта, что произвело на мальчика огромное впечатление: любовь к военным парадам и экзерцициям стала как бы второй натурой и всегда преобладала у Петра III над всем остальным. В 1739 г. отец умер, и регентом осиротевшего мальчика в Киле стал его двоюродный дядя Адольф Фридрих, епископ Любекский. Опекун, однако, в воспитание Петра не вмешивался, и оно шло по ранее заведенному порядку. Как видно, например, из донесения гофмаршала О. Брюмера, представленного 26 апреля 1740 г. регенту, маленького герцога учили истории, письму и счету, французскому и латинскому языкам, танцам, фехтованию. Беда заключалась в том, что Брюмер, невежественный и грубый швед, не гнушаясь отборной ругани и рукоприкладства, всячески и изощренно унижал своего подопечного. Например, привязывал мальчика к столу или одевал ему на шею картинку с изображением осла. И все это делалось публично, в присутствии придворных. По словам видевшего все это учителя французского языка Мильда, Брюмер «подходил для дрессировки лошадей, но не для воспитания принца». Позднее, находясь в Петербурге, Петр вспоминал «о жестоком обхождении с ним его начальников», которые в наказание часто ставили его коленями на горox, от чего ноги «краснели и распухали» [120, с. 69].

После вступления в 1730 г. на российский престол Анны Ивановны дорога на Петербург казалась закрытой. И тогда Карл Фридрих и его окружение стали готовить для Петра другой династический маршрут — Стокгольм.

И вот 25 ноября 1741 г. к власти в Петербурге пришла дочь Петра I и тетка гольштейнского претендента Елизавета Петровна. Она немедленно вызвала своего племянника из Киля в Петербург. Он прибыл на берега Невы 5 февраля 1742 г., в ноябре Карл Петер Ульрих перешел (точнее сказать: был переведен!) из протестанства в православие, стал цесаревичем Петром Федоровичем и объявлен наследником российского престола.

Обнаружив почти полное невежество племянника, императрица приставила к нему учителей, поручив обязанности воспитателя академику Я. Я. Штелину. Однако занятия гили бестолково, урывками. Склонная к развлечениям Елизавета Петровна по несколько месяцев проводила со своим двором в Москве, ездила в Киев. Во время одной из таких поездок Петр простудился и заболел оспой, следы которой остались у него па лице.

Несмотря на физические недомогания и суету придворной жизни, благодаря умелому и тактичному обхождению со своим воспитанником Я. Я. Штелину удалось за короткий срок добиться некоторых успехов. Не получивший в детстве должного развития, но от природы сообразительный и впечатлительный, великий князь обладал великолепной памятью. Она, по словам Штелина, была «отличная до крайних мелочей» [126, с. 110]. Поэтому уже к концу 1743 г., когда двор вернулся в Петербург, Петр «знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I». Но любимыми предметами у него были военные, особенно артиллерия и фортификация.

1745 г. в жизни великого князя, которому исполнилось 17 лет, ознаменовался важными переменами. 7 мая польский король и саксонский курфюрст Август III Фридрих в качестве викария Германской империи объявил Петра Федоровича достигшим совершеннолетия и правящим гольштейнским герцогом с прекращением регентства Адольфа Фридриха. 25 августа наследник российского престола вступает в брак с анхальт-цербтской принцессой Софьей Фредерикой Августой, нареченной в православии Екатериной Алексеевной. Летней резиденцией «малого двора» стал Ораниенбаум (ныне город Ломоносов), который императрица, любившая Петергоф (ныне Петро-дворец), подарила своему племяннику в 1743 г. С 1756 г. придворным архитектором наследника стал знаменитый Антонио Ринальди, соорудивший для великого князя потешную крепость Петерштадт (1756—1759) и миниатюрный двухэтажный дворец (1759—1762). В последующие годы для Екатерины II по проектам Ринальди были возведены широко известные Китайский дворец и павильон Катальной горки. Эти сооружения, включая остатки крепости, сохранились до сих пор.

С детства одинокий и заброшенный, Петр поначалу ощущал к Екатерине, если не любовь, то симпатию и родственное доверие. Но напрасно: ей нужен был не Петр, а императорская корона. Этого Екатерина не скрывала ни в позднейших «Записках», ни тогда, после свадьбы. При всей своей ребячливой открытости Петр почувствовал это довольно скоро, уже к началу 1746 г. Его немногие интимные записки Екатерине, сохранившиеся от тех лет и писанные собственноручно на плохом французском языке, проникнуты то сдержанными упреками, то иронической грустью. И как своего рода защитная реакция — униженная, заискивающая подпись: «Ваш недостойный муж, всегда ваш Петер» [16, ф. 4, № 109]. А еще несколько лет спустя, особенно после рождения в 1754 г. Павла, их брак все более приобретал номинальный характер. Чуждаясь в повседневной жизни придворного общества, в первые годы супружеской жизни, как и прежде, великий князь любил игры в компании приставленных к нему слуг и лакеев. Это раздражало императрицу, и в инструкции, данной Н. Н. Чоглокову в 1747 г., предписывалось запрещать великому князю игры с «егерями и солдатами или какими игрушками, и всякие шутки с пажами, лакеями и иными негодными ни к наставлению

неспособными людьми» [38, с. 719]. Спустя несколько лет великий князь все свободное время стал уделять военным упражнениям и общению с солдатами и офицерами гольштейнского отряда, вызванного из Киля. (Недавно А. Л. Никитин выдвинул интересное предположение, что форма для гольштейнских военнослужащих — а она отличалась высоким художественным вкусом — была создана по рисункам А. Ринальди) [ИЗ, с. 10]. Наряду с земляками, Петр Федорович охотно беседовал с солдатами Преображенского полка, шефом которого являлся. В великосветских кругах все это встречалось неодобрительно и породило мнение о наследнике, как о грубом солдафоне. С нескрываемым злорадством писала об этом и в своих «Записках» Екатерина. Но многое она утрировала, а о многом умолчала. Например, о том, что довольно рано Петр увлекся чтением романов и игрой на музыкальных инструментах. Он очень любил итальянскую музыку и украдкой научился неплохо играть на скрипке (он считал себя последователем школы известного итальянского композитора и скрипача XVIII в, Д. Тартини). Кроме того, великий князь любил живопись, книги, фейерверки. По его требованию в 1746 г. в Петербург из Киля была доставлена библиотека его отца. Она была размещена в Картинном доме любезного его сердцу Ораниенбаума, а надзор поручен Я. Я. Штелину. В архиве последнего сохранился рукописный «Оригинальный каталог библиотеки великого князя по инженерному и военному делу». Он был составлен Штелиным и 173 г. и содержит 829 описаний книг по форматам. К каталогу приложена несброшюрованная тетрадь с перечнем книг, доставленных из Киля. На тетради дата: 5 октября 1746 г. [15, № 69].

Как видно из предварительных исследований состава книжного фонда, наиболее полно были представлены книги по военному делу, по истории и искусству, а также художественная литература, от сочинений античных писателей до произведений авторов XVII—середины XVIII в. на французском, немецком, итальянском, английском и некоторых других европейских языках. В их числе находилось и первое французское собрание сочинений Вольтера. Многие экземпляры этой библиотеки оцениваются как «подлинные книжные редкости» [75, с. 163]. Из изданий на русском языке выявлено лишь одно — вышедший в начале 1729 г. первый (и оказавшийся единственным) выпуск петербургского научного журнала «Краткое описание Комментариев Академии наук». Роль Петра Федоровича в комплектовании библиотеки была достаточно активна. «Как только, — вспоминал Штелин, — выходил каталог новых книг, он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку» [126, с. 71, 110].

Наследник не только предавался придворным забавам, но и делал неоднократные попытки заявить о себе на политическом поприще. Сперва — как гольштейнский герцог. Став в 1745 г. правящим государем карликового немецкого владения, Петр решил заняться его делами. Понятно, что оперативно управлять герцогством, находясь в Петербурге, он не мог. Поэтому в декабре 1745 г. наместником в Киле был назначен его дядя Фридрих Август (на этом посту он пробыл до 1751 г.). При персоне Петра Федоровича в Петербурге существовало гольштейнское представительство, по главе которого с 1746 по 1757 г. стоял барон И. Пехлин.

Просмотр нами в 1982 г. герцогских материалов из бывшего Нильского архива, ныне хранящихся как депозит герцога Ольденбургского в архиве г. Шлезвиг (ФРГ), позволил выявить любопытную и, на первый взгляд, неожиданную деталь: значительная часть уцелевших от того времени документов не просто завизирована Петром, но и написана им собственноручно! Это обстоятельство, на которое до сих пор вообще не обращалось внимания, важно с психологической точки зрения. Оно свидетельствует, что Петр Федорович проявлял к своим немецким владениям постоянный интерес. Порой, может быть, хаотичный, порывистый и даже мелочный, но не лишенный определенной тенденции, которая в основном сводилась к попыткам упорядочить судопроизводство, военное дело и другие стороны управления, навести дисциплину в деятельности

правительственного Тайного совета. Но если в гольштейнских делах Петр хоть как-то мог дать выход своей энергии, то при дворе своей тетки он попросту бездействовал. Политическая неискушенность великого князя была, пожалуй, не столько его виной, сколько бедой. В самом деле, объявив его в 1742 г. своим наследником, Елизавета Петровна никогда в сущности не готовила его всерьез к будущей государственной деятельности как главы великого государства. Да и сама она, «ленивая и капризная», по характеристике В. О. Ключевского [61, с. 340] оставалась в этих вопросах в значительной степени дилетантом.

Определенную роль играли неровные, под конец во многом натянутые отношения ее с наследником. Но решающим было не озорство и позерство, которое тот позволял себе, а расхождения по многим ключевым вопросам политики. Это со всей очевидностью выявилося с 1757 г., когда Россия приняла участие в Семилетней войне на стороне коалиции Австрии, Франции, Швеции и Саксонии, направленной против Пруссии. Незадолго перед этим, в 1756 г., Елизавета Петровна учредила Конференцию при высочайшем дворе — высший консультативный государственный орган, ведавший военно-политическими вопросами, а также всеми внутренними и международными делами. В состав Конференции вошел и великий князь. Но не надолго. Будучи, как одно время и Екатерина, сторонником прусской ориентации, Петр осуждал участие России в войне вообще, против Фридриха II — в частности. Вскоре он перестал посещать заседания, ограничиваясь лишь подписанием протоколов, которые ему привозил Д. В. Волков, а после 1757 г. и вовсе вышел из этого органа, вызвав тем неудовольствие императрицы. Правда, спустя некоторое время она возложила на него другое поручение: он был 12 февраля 1759 г. назначен главным директором Сухопутного шляхетного корпуса в Петербурге.

Это учебное заведение, основанное по инициативе видного русского военного деятеля Х. А. Миниха еще в 1732 г., сыграло заметную роль не только в подготовке военных кадров. Значительна роль Корпуса и в истории русской художественной культуры XVIII в. Достаточно напомнить, что среди его воспитанников были такие видные писатели, как А. П. Сумароков, а затем И. А. Озеров и М. М. Херасков. В 1750-х гг. здесь возник кружок любителей русской словесности, ставились спектакли. В 1754—1756 гг. в Сухопутном корпусе учился основоположник русского профессионального театра Ф. Г. Волков.

К обязанностям главного директора Корпуса Петр Федорович отнесся не просто серьезно, но, можно сказать, со всем рвением. Очутившись в близкой ему стихии, он лично познакомился со всеми кадетами, проводя с ними много времени: посещал занятия в классах и на плацу, беседовал и присутствовал на играх, добился для Корпуса некоторых финансовых привилегий [79, с. 39—40]. Примечательно, что в эти годы активизировалась издательская деятельность Корпуса, при котором еще в 1757 г. была заведена типография. На основании представления директора Корпуса А. П. Мельгунова в типографии после просмотра и одобрения особой комиссией было разрешено печатать любые книги «на французском, немецком и российском языках», хотя бы их тематика не была непосредственно связана с деятельностью Корпуса [124, с. 301]. В 1761 г. по указанию Петра Федоровича началось издание справочника всех преподавателей и кадетов с момента основания заведения [54]. В свет, однако, успел выйти только первый том, так как после прихода к власти Екатерины II издание было прервано.

Не подлежит сомнению, что в самом Петре с момента его появления в России шла острая внутренняя борьба между воспитанным с детства в Киле немецко-гольштейнским и прививавшимся позднее в Петербурге имперско-русским самосознанием. В таких условиях ощущение двойственности своего происхождения — немецкого по отцу и русского по матери — порождало у него сложный и весьма неустойчивый психологический комплекс двойного национального самосознания. По свидетельству нерасположенного к нему Н. И. Панина [76, с. 364], Петр III предпочитал изъясняться по-

немецки, а «по-русски он говорил редко и всегда дурно» (впрочем, Екатерина, пережившая его на 34 года, так и не научилась правильно говорить и писать по-русски). Ж. Л. Фавье, наблюдавший Петра Федоровича в 1761 г., т. е. незадолго до его прихода к власти, отмечал, что великий князь «и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем иным» [117, с. 194]. В результате он, уже не знавший Гольштейна, не знал и по настоящему так никогда не узнал и России, и, если верить «Запискам» Екатерины II, предчувствовал здесь свою гибель.

Все же, если он и ощущал себя в значительной мере немцем, то — немцем на русской службе. И потому, свыкшись со своим положением, Петр в той или иной мере приглядывался к окружающим его людям, примеривался по-своему к обстановке, размышлял. . . Хотя его политические взгляды не составляли, конечно, целостной и продуманной системы, их нет никаких оснований игнорировать.

В области внешней политики он был сторонником прусской ориентации, относясь с исключительным пиететом к Фридриху II. Эта черта отмечена многими современниками, равно как и его симпатии к Англии.

По свидетельству Я. Я. Штелина, в разгар Семилетней войны великий князь «говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают» [126, с. 93]. Он приказал Д. В. Волкову сказать членам Конференции «от его имени, что мы со временем будем каяться, что вошли в союз с Австрией и Францией». За подобными суждениями, не лишеными, впрочем, элементов политического реализма (прогрессивная австрийская исследовательница и публицистка Е. Пристер отмечала двойственный характер внешней политики Марии Терезии по отношению к России и интриги правительства Франции, которая уже с 1759 г. «оказывала на Австрию давление с целью заключения мира с Пруссией» [99, с. 274]; в советской и французской исторической литературе отмечалась также непопулярность Семилетней войны среди широких кругов французского общества), стояли вполне конкретные расчеты, связанные с гольштейнскими интересами Петра. Ведь и прусский король, и король Англии как ганноверский курфюрст были ближайшими соседями его герцогства. Петр надеялся, заручившись их поддержкой, выполнить завет своего отца, верность которому сохранял всю жизнь: вернуть Шлезвиг и другие территории, отнятые когда-то Данией. Реже отмечается, что свои заботы о гольштейнском наследстве Петр Федорович стремился увязать с интересами России.

Наиболее полно его точка зрения на этот вопрос была изложена в письме 17 января 1760 г. на имя императрицы. Этот, давно известный в литературе документ примечателен для характеристики некоторых общеполитических представлений Петра Федоровича накануне его прихода к власти. В письме вновь прорывается протест против Семилетней войны, затрудняющей, по его убеждению, решение столь болезненного для него вопроса. Вместе с тем он подчеркивал, что Елизавета Петровна является продолжательницей дел Петра I, «которые всегда к тому клонились, чтоб в [Российской] империи иметь при Балтийском море владения». Поэтому, рассуждал великий князь, возвращению Шлезвига «при высоком моем предопределении» (т. е. при наследовании им в будущем русского престола) отвечало бы интересам не только Гольштейн-Готторпской династии, но и России.

При всех своих гольштейнских симпатиях Петр Федорович отнюдь не был безразличен к делам страны, которой, как он верил, ему в будущем суждено было управлять. Ему, любившему военную четкость, несомненно претило многое. И пренебрежение тетки к текущему управлению, когда многие важные вопросы дожидались ее резолюции не то что неделями, но месяцами, а иной раз и годами. И своеволие ее приближенных, неупорядоченность законов, произвол и мздоимство в административных и судебных органах, реакционное вмешательство церковных властей в светские дела и многое другое. Об этих болевых точках он знал лично или слышал, а по ряду вопросов высказывал достаточно здравые мысли. Его раздражала и беспокоила



распушенность лейб-гвардии. «Еще будучи великим князем, — передает Я. Я. Штелин, — называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил: „Они только блокируют резиденцию, неспособны ни к какому труду, ни к военным эскерциям и всегда опасны для правительства"» [126, с. 106]. В этих словах была, конечно, доля истины. Тот же Штелин вспоминал, что, еще будучи наследником, Петр «часто говорил» о необходимости закрепления вольности дворянской, уничтожении репрессивной Тайной розыскной канцелярии, а также о провозглашении веротерпимости [126, с. 98]. И эта, исподволь накапливавшаяся в Петре, энергия после 25 декабря 1761 г. буквально выплеснулась наружу. Уже в своем первом манифесте Петр III обещал «во всем подражать как ее величества (т. е. покойной Елизаветы Петровны. — А. М.) щедротам и милосердию, так и во всем последовать стопам премудрого государя, деда нашего императора Петра Великого» [97, т. 15, № 11300]. Столь многообязывающее и сделанное в торжественной форме заявление должно было подчеркнуть не просто преемственность, но и хорошо понятную современникам дальнейшую ориентированность курса нового монарха.

Что касается «щедрот и милосердия», то они вскоре проявились в широкой амнистии лицам, подвергшимся в прошлые годы ссылкам и другим наказаниям. Среди возвращенных находились и бывшие заклятые политические противники — фаворит Анны Ивановны недоброй памяти Э. И. Бирон и генерал-фельдмаршал К. А. Миних. Более примечательной стала попытка нового императора «последовать стопам» Петра I. Конечно, в этом было немало поверхностного, наивного и в сущности гротескного, напоминавшего расхожие полуфольклорные представления о великом преобразователе, с сатирической силой схваченные в есенинской «Песни о великом походе»:

Он в единый дух  
Ведро пива пьет.  
Курит — дым идет  
На три сажени,  
Во немецких одеждах,  
Разнаряженный.

И внук Петра I, «маленький Петр», действительно завел застольный обычай пить английское пиво, курил сам и заставлял придворных курить трубку, любил ходить в прусском мундире. Все это дотошно фиксировали и А. Т. Болотов, близко связанный с екатерининским фаворитом Г. Г. Орловым, и недоброжелательно настроенные французский и австрийский дипломаты, да и некоторые другие современники. Так оно, по-видимому, и было. Но было и другое.

Подчеркнуто стремясь подражать деду, Петр III с первых же недель вступления на престол особое внимание обратил на укрепление порядка и дисциплины в высших присутственных местах, на упорядочение компетенции и повышение оперативности органов власти. Этими делами он решил заняться лично, для чего был установлен достаточно четкий распорядок дня. О нем можно судить по разрозненным указаниям в воспоминаниях современников и записям в камер-фурьерских журналах (правда, за март—июнь отсутствуют [21, л. 71]: возможно, они были уничтожены в угоду Екатерине II). Вставал император обычно в 7 часов утра, выслушивая с 8 до 10 часов доклады сановников. В 11 часов он лично проводил военные учения, а в час пополудни обедал — либо в своих апартаментах, куда приглашал интересовавших его людей, независимо от занимаемого ими положения, либо выезжал к приближенным или иностранным дипломатам. Вечерние часы отводились на придворные игры и развлечения (особенно любил он концерты, в которых сам охотно играл на скрипке). После позднего ужина, на который созывалось иногда до сотни персон, он вместе со своими советниками до глубокой ночи вновь занимался государственными делами. Утренние часы до вахтпарада и послеобеденное время он часто использовал для инспекционных выездов в

правительственные учреждения и казенные заведения (например, мануфактуры). Начал он с Сената. После Петра I он оказался едва ли не единственным монархом, лично посещавшим Синод — высшее церковное ведомство. Его наезды, совершавшиеся без предупреждения, неожиданно, пугали высшую светскую и духовную бюрократию, которая давно уже отучилась по настоящему работать и привыкла во времена Елизаветы Петровны к спокойной и бесконтрольной жизни. Понятно, что среди членов Сената, а особенно Синода росло раздражение против императора, которым и воспользовались сторонники Екатерины.

Но Петр, безоглядно следуя избранному пути, прикоснулся к святым святым — к православной церкви (задумав провести в ней какие-то реформы) и к гвардии (намереваясь поставить ее под строгий контроль, упразднив 21 марта привилегированную лейб-компанию и, по-видимому, предполагая в дальнейшем вообще ликвидировать эти дворянские части). Одновременно в спешном порядке и вся армия перестраивалась на прусский лад. Особое внимание обращалось на внешнюю сторону: вводилась новая форма, традиционные названия полков менялись по именам их новых шефов, усиливалась муштра. Старшим командирам, вплоть до отвыкшего от этого генералитета, предписывалось лично проводить строевые учения. В офицерской среде, прежде всего у гвардейцев, возникло и стало усиливаться недовольство Петром III. А начавшаяся весной подготовка к военной кампании против Дании, в которой должны были принять участие и гвардейские полки, необычайно обострила такие настроения и сделала их взрывоопасными.

То, что император не видел или упорно не хотел видеть надвигающейся опасности, мок но, конечно, расценить как политическую слепоту. Но в такой манере поведения просматривается и другое — полнейшая уверенность в естественности своих «прирожденных» прав на самодержавный престол. «Бедный император хотел подражать Петру I, во у него не было его гения», — так афористично, с солдатской прямолинейностью скажет о нем позднее его кумир — прусский король Фридрих II [118, с. 23]. Лишенный необходимых волевых качеств, по натуре добрый, но болтливый, Петр III ошибочно оценил расстановку политических сил. В результате он все более отрывался — не от класса дворянства, которому служил, но от ближайшей питательной среды самодержавного режима: от той «горсти интриганов и кондотьеров», которая, по характеристике А. И. Герцена, в XVIII в. «заведовала государством» [41, т. 12, с. 365]. Настроения именно этих кругов выразила Е. Р. Дашкова, когда писала: «Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал глубокое презрение к себе своими законодательными мерами» [44, с. 37]. Недовольные им правящие верхи сделали ставку на Екатерину, Екатерина сделала станку на них. С помощью гвардейцев — ее фаворита Г<sup>1</sup>. Г. Орлова и его брата Л. Г. Орлова между обеими сторонами был заключен негласный пакт, направленный против Петра III. Фактически это наметилось еще до вступления его на престол, в последние годы жизни Елизаветы Петровны. Поэтому и смысл событий 28 июня 1762 г. вовсе ив сводился к тому, чтобы, как позднее пыталась увесить Екатерина, «или погибнуть вместе с полуумным, или спастись с толпою, жаждавшею от него избавиться» [94, с. 6]. Ничего вынужденного, а тем более неизбежного не было. Нет, 28 июня 1762 г. столкнулись не подданные со своим государем, а две группировки господствующего класса, между которыми существовали различия в понимании путей и методов защиты и утверждения своих ближайших интересов. Иными словами, переворот имел не массовый и стихийный, а верхушечный характер. У Петра III, прояви он хоть немного смелости и решительности, некоторые шансы на успех оставались: рядовые гвардейцы колебались, большая часть армии вообще была в стороне от заговора, а заграничным командовал А. П. Румянцев, о преданности которого Петру III была хорошо осведомлена и Екатерина. Известно, что Х. А. Миних как раз и предлагал Петру воспользоваться сохранявшимися еще возможностями. Почему же не последовал он советам искушенного

в политических комбинациях царедворца? Для оценки поведения Петра Федоровича в столь экстремальных условиях ответ на поставленный вопрос интересен и важен. Прежде всего, конечно, его пассивность объяснялась панической растерянностью («Государь был очень жалок», — говорила Н. К. Запьяжская А. С. Пушкину [102, т. 12, с. 175]). Хотя действия заговорщиков и застали его врасплох, Петр, по-видимому, в принципе не исключал такой возможности. Любопытную черту его характера отметил в своих записях Я. Я. Штелин: «На словах нисколько не страшился смерти, но на деле боялся всякой опасности» [126, с. 111]. Заговорщики бесспорно учитывали эту черту характера Петра III, а то, что она была известна не только Штелину, сомнению не подлежит. Примечательны в этом смысле воспоминания немецкого ученого А. Ф. Бюшинга, жившего тогда в Петербурге и исполнявшего обязанности пастора лютеранской церкви св. Петра. В часы, когда Екатерина II, объявив себя самодержицей, пошла с войсками на Ораниенбаум, к Бюшингу явился вице-президент Юстиц-коллегии фон Эмме и по поручению Сената потребовал привести членов прихода к присяге новой власти. В ответ на колебания Бюшинга, опасавшегося преждевременности такого шага, фон Эмме сказал: «Неужели вы так мало знаете императора? Неужели думаете, что с его стороны будет оказано сопротивление?» [37, с. 10]. Важное замечание! Говорят, что трус не может проявить себя в действии. Нечто похожее случилось и с Петром III. Только трусость его была не столько личной, сколько политической: Россия в его представлении ограничивалась придворными и гвардией, ее верхушкой. А обе эти силы а критический момент оказались не на его стороне. И он вступил на заведомо обреченный путь переговоров с супругой. Их закономерным итогом и явилось отречение 29 июня 1762 г. По иронии судьбы оно пришлось на день Петра и Павла. . .

Последующие семь дней Петра Федоровича стали печальным эпилогом его короткой жизни и короткого царствования. Источники донесли об этих днях скудные и во многом искаженные сведения, имевшие к тому же преимущественно внешний характер. А что было там, «внутри»? По-видимому, между супругами (а брак Петра и Екатерины так и сохранил до конца юридическую силу) шла упорная и теперь с трудом восстанавливаемая борьба. Расставшись без серьезного сопротивления с властью («Он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого отсылают спать», — цинично, но необычайно метко сказал Фридрих II [110, кн. 13, с. 100]), бывший император продолжал цепляться за жизнь. Как видно из его писем к Екатерине от 29 и 30 июня, он добивался возможности выехать в Киль, причем не одному, а со своей фавориткой Е. Р. Воронцовой (если верить сумбурной информации очевидца, безвестного грузинского иерея [120, с. 21], она находилась к тому времени в положении). Отныне главным помыслом Петра было стать тем, кем он был изначально от рождения — герцогом крохотного немецкого владения. Наоборот, новая императрица, дабы упрочить захваченные позиции, искала любой предлог удержать пленника в своих руках, воспрепятствовать его отъезду из России. Но как пойдут далее события, было не ясно ни ему, ни ей. Некоторое представление о политическом торге этой недели дает анализ последних из дошедших до нас документов Петра III.

Его отречение было поистине унижительным документом, и котором бывший император публично расписывался в собственной неспособности «не только самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть российским государством» [78, с. 221]. И все же история этого отречения во многом загадочна.

Вопреки официальным утверждениям Екатерины, наивно думать, что оно было подписано добровольно — другого выхода у арестованного Петра просто не было. Странное, однако, обстоятельство: отречение, датированное 29 июня, было всенародно объявлено лишь в «Обстоятельном манифесте», датированном 6 июля, но напечатанном лишь 13 июля. Чем можно объяснить, что столь, казалось бы, важный акт, дававший Екатерине юридический статус царствующей императрицы, так долго утаивался от общественности? Вспомним, что означала эта дата, 6 июля: день убийства (или, официально, смерти от «прежестоккой колики») бывшего императора в Ропше. Стало быть,

по каким-то причинам Екатерине II была невыгодна публикация отречения до тех пор, пока ее супруг оставался жив. В таком случае возникает другой вопрос: а был ли вообще объявленный текст аутентичен подписанному Петром III? Обращают на себя внимание три малозаметные, на первый взгляд, но важные детали. Первая: Екатерина, как указывалось в манифесте, требовала от Петра отречение не только «добровольное», но «письменное и своеручное. . . в форме надлежащей». Объявленный ею текст и в самом деле составлен в стиле государственных актов того времени. Но достаточно сравнить его с нескладным «русским» письмом, написанным Петром в тот же день несколькими часами ранее и действительно «своеручно» («Я еще прошу меня которой ваше воле исполнял во всем. . .»), чтобы убедиться: отречение было отредактировано, а скорее всего и составлено кем-то из помощников Екатерины. Судя по сходству стиля отречения и первых ее манифестов, подготовленных Г. П. Тепловым, он, по-видимому, был автором и этого документа. Теплов, давно симпатизировавший Екатерине, имел с Петром личные счеты: за «непочтительные речи» он был заключен в марте месяце в тюрьму, где провел 12 дней. Теперь Теплов мог сполна расквитаться с пленником.

Вторая деталь: если два письма, направленные Екатерине 29 июня, отразили глубокую подавленность Петра и имели униженно-просительный характер, то письмо, написанное им на следующий день, выдержано в иной тональности. В нем звучит уверенность и даже некоторые нотки независимой иронии. Конечно, желание уехать в Киль вновь повторяется, но выглядит оно не столько как просьба, сколько как напоминание ускорить его отъезд «с назначенными лицами в Германию» [31, с. 23]. Между прочим, Петр просит супругу обращаться с ним «по крайней мере, не как с величайшим преступником». В конце следует приписка: «Ваше величество может быть во мне уверено: я не подумаю и не сделаю ничего против вашей особы и против вашего царствования». Любопытно, что столь значимое, можно сказать, принципиальное обязательство приведено в постскриптуме, как бы между прочим. Создается впечатление, что 30 июня у Петра Федоровича появилась уверенность в благополучном разрешении конфликта. Что яге могло произойти всего за одни сутки? И в этой связи рассмотрим третью деталь: в опубликованном тексте отречения «форма надлежащая» не соблюдена в главном — оно анонимно: кому передавался престол, в нем не указано. Между тем, по логике вещей преемником должен был бы стать Павел Петрович, естественный наследник, имя которого фигурировало в форме церковного вознесения, утвержденной Петром III 27 декабря 1761 г. [97, т. 15, № 11394]. Но как раз это Екатерину и не устраивало. Между тем в странном постскриптуме, на который мы только что ссылались, Петр Федорович как о нечто само собою разумеющемся заявлял о лояльности в отношении царствования своей супруги. Не означало ли это, что ей он и передал правопреемство власти в подписанном накануне отречении? Выполнив поставленное ему условие, он надеялся на собственное освобождение: отсюда и изменившаяся тональность письма от 30 июня и напоминание о скорейшей организации его отъезда в Киль. Но такая сделка (если наше предположение справедливо) обернулась ловушкой. И в первую очередь для самой Екатерины. Ведь не только влиятельный Н. И. Панин, находившийся к пей в скрытой оппозиции, но даже преданная Е. Р. Дашкова были убеждены, что более, как на регентство Екатерина претендовать не может [42, с. 552]. Она прекрасно знала об этом. А зная, опасалась, что в неустойчивой обстановке первых дней после переворота однозначное провозглашение ее правящей императрицей могло бы внести раскол в лагерь ее сторонников и, как знать, даже привести к освобождению и восстановлению на престоле ропшинского узника. После 6 июля эта опасность отпала, но ведь сын-соперник оставался! Этим и следует объяснить анонимность опубликованного отречения, которое напоминало скорее эмоциональное публичное бичевание устраненного соперника, чем ясный юридический акт — вопрос об объеме своих прав Екатерина решила оставить открытым, чтобы со временем вопрос права превратил в вопрос факта. Так в атмосфере обмана и насилия, недомолвок и передержек взойшла на престол Екатерина II, поставившая

предел земному пути реального Петра III и, неведомо для себя, открывшая перед ним дверь в народную легенду. Попробуем войти в эту дверь и мы.

### **Намерения, дела, иллюзии**

Сводить, как это вошло в обычай, оценку Петра III к негативной, зачастую гипертрофированной характеристике его личных качеств по меньшей мере нелогично. Как будто бы российские самодержцы до, а тем более — после него занимали престол непременно по таланту и способностям! Между тем даже самое общее ознакомление с внутривластными мерами нескольких месяцев царствования Петра Федоровича показывает, насколько искаженно и односторонне оценивались они приверженцами Екатерины II, а позднее в дворянско-буржуазной историографии как симптом начавшегося расстройств и упадка государственных дел. Обратимся хотя бы к официальному дореволюционному изданию — «Полному собранию законов Российской империи». Здесь за период с 25 декабря 1761 г. по 28 июня 1762 г. приведено 192 документа — манифесты, именные и сенатские указы, резолюции и другие акты. Иными словами, они следовали один за другим почти ежедневно. А ведь в «Полное собрание» не включены устные и письменные повеления императора и приказания по частным вопросам, фиксировавшиеся обычно в особых книгах. Не менее интересны и отчасти неожиданны итоги анализа законодательных актов по датам их появления. Уже в последнюю неделю 1761 г., с 25 по 31 декабря, вышло пять нормативных актов. В последующие месяцы их количественное соотношение выглядело так: январь — 39, февраль — 23, март — 35, апрель — 32, май — 33, июнь — 25. Последний именной указ был подписан 26 июня и отменял отсрочки банковских ссуд вплоть «до нашего дальнейшего указа». Такого, ввиду произошедшего двумя днями позднее устранения императора, не последовало. Бурная законотворческая деятельность правительства Петра III оборвалась буквально на полуслове: ни о каком ее спаде говорить нет оснований.

Не столь уж важно, были ли эти акты следствием его личной инициативы или результатом деятельности советников: понятно, что Петр III, как и любой монарх, опирался на определенный круг доверенных лиц. Достаточно того, что все эти акты были санкционированы и подписаны императором и изданы для обнародования.

Что же представляли собой эти законы по содержанию? Среди них было немало появившихся по конкретному поводу и потому имевших текущий, а порой второстепенный и даже мелочный характер. Но были и чрезвычайно важные, по своему смыслу — органические установления. К ним в первую очередь относились манифесты: «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (18 февраля) и «Об уничтожении Тайной розыскной канцелярии» (21 февраля), именные указы 29 января и 7 февраля о сочинении особого положения для раскольников и защите их от притеснения за веру, именные указы 16 февраля и 21 марта о передаче монастырских вотчин в ведение Коллегии экономии, указ Сенату о коммерции 28 марта, именной указ 25 мая об учреждении государственного банка и т. д.

При всей пестроте и разномасштабности законодательства Петра III в нем прослеживаются определенные тенденции, во многом вытекавшие из его настроений в пору ожидания трона. И подобно неровному характеру этого человека, то удивлявшего зрелостью и глубиной суждений, то поражавшего поверхностностью и отрывом от действительности, предпринимавшиеся им шаги создавали впечатление чего-то неровного, импульсивного. Далекое не все оказывалось должным образом продумано и подготовлено, либо не отвечало реальному уровню социально-экономического развития страны. Все это, однако, несло в себе четко выраженный классовый смысл: курс правительства и лично Петра III был направлен на защиту имущественных и политических интересов дворянства. Да и сам император по воспитанию и образу мыслей был крепостником. Он, по словам В. П. Буганова, «успел за шесть месяцев царствования

раздать в крепостные более 13 тысяч человек» [39, с. 90]. Правда, Екатерина II затем его произошла: за последующие 10 лет она раздала помещикам более 66 тысяч крестьян. Нужно учесть, что во всех этих случаях речь шла только о лицах мужского пола. Согласно сенатскому указу 22 апреля, в ревизские списки сведения о крестьянках включать не требовалось [97, т. 15, № 11513]. Таким образом, общее число крестьян, перешедших на положение крепостных при Петре III, а затем при Екатерине II было в несколько раз большим. Именно при «третьем императоре» был даже установлен своеобразный «прожиточный минимум» для помещиков — одна тысяча ревизских душ. Тот, кто располагал меньшим количеством крепостных, должен был, согласно манифесту 18 февраля, направлять своих детей на воспитание в Кадетский сухопутный корпус.

Все же законодательству времени Петра III был присущ ряд любопытных и в значительной мере новых особенностей. Первая из них заключалась в приведении более или менее подробной назидательной аргументации, выдержанной в просветительском духе и порой сочетавшейся с доводами патриотического характера. Особенно в документах, подготовленных Д. В. Волковым. В именном указе 16 февраля (№ 11441) разработка закона о передаче управления монастырскими вотчинами в руки государства трактовалась в качестве приведения в исполнение воли покойной Елизаветы Петровны.

Вторая существенная особенность законодательства периода Петра III — появление в нем сравнительно устойчивых пробуржуазных тенденций, что отвечало «требованиям развитая буржуазных отношений в России в условиях крепостничества, которое продолжало усиливаться» [110, кн. 13, с. 603]. Эти тенденции реализовывались в различных формах и прежде всего в содействии подъему торговли, ремесла и промышленности при опоре не столько на дворянских предпринимателей, сколько на купечество и городское мещанство. Здесь чувствовалась уже личная инициатива Петра III, выработавшего мнение на этот счет несколькими годами ранее. Обер-прокурор Синода и конференц-министр елизаветинских времен Я. П. Шаховской с раздражением вспоминал, как в 1750-х гг. великий князь направлял к нему «просьбы или, учтивее сказать, требования в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим по большей части таким делам» [125, с. 157]. Придя к власти, Петр попытался, хотя и не всегда умело, претворить подобные меры в жизнь. «Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность», — записывал Я. Я. Штелин [126, с. 103]. Исходя из такой ориентации, Петр решительно выступил против стремления Р. И. Воронцова, возглавлявшего Комиссию по составлению нового уложения, закрепить дворянскую монополию на промышленность и землевладение. В соответствии с таким подходом в составленном Д. В. Волковым указе о коммерции 28 марта (№ 11489) значительное место было уделено мерам по расширению экспорта хлеба («государство наше может превеликий хлебом торг производить и что тем самым и хлебопашество поощрено будет») и других продуктов сельского хозяйства. В этом и ряде других указов обращалось внимание на хозяйское отношение к лесам, сбережение которых «почитаем мы за самый нужный и важный государственный артикул». Одновременно запрещалось ввозить из-за рубежа сахар, сырье для ситценабивных мануфактур и другие виды продукции, производство которой может быть налажено в России. Этот вполне очевидный протекционистский курс своеобразно сочетался с попытками, впрочем, единичными и робкими, регулирования территориального размещения отечественной промышленности.

Другой формой реализации отмеченных тенденции явились меры по расширению использования вольнонаемного труда. Так, основываясь на именном указе Петра III, 29 марта Сенат запретил владельцам фабрик и заводов покупать к ним деревни. Впредь до утверждения нового Уложения Сенат приказывал «довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми» [97, т. 15, № 11490]. Тем же способом сенатскими указами от 28 февраля и 26 апреля предлагалось произвести очистку

порогов на Волхове и ремонт знаменитой дороги из Петербурга в Москву. Строго повелевал ось работным людям «никакого . . . напрасного озлобления не чинить . . . чрез что уповательно впредь к найму в ту работу охотников более сыскается» (там же, № 11455). Впрочем, правительство, видимо, понимало, что в условиях крепостного права «сыскается» таким людям было не просто. И чтобы как-то ослабить возникавшее противоречие, разрешалось привлекать к подобным обязанностям пашенных крестьян, но — лишь из ближайших деревень, по окончании полевых работ и с обязательной оплатой за выполненную работу.

Наконец, еще одна особенность законодательства конца 1761—середины 1762 г. заключалась в несравненно большем, чем прежде, внимании к регулированию положения крестьянства и других непривилегированных слоев населения. Из 192 актов, включенных в «Полное собрание законов» за период правления Петра III, разным категориям непривилегированного населения было посвящено не менее 34 актов, т. е. почти 18 %. Фактически их было больше: отдельные аспекты регулирования его положения затрагивалось в манифестах и указах общего содержания.

Незыблемость крепостного права — вот идея, красной нитью проходившая через все эти законодательные акты. Правительство решительно пресекало любые формы «непослушания» и «своевольства» крепостных, выступавших против усиливавшейся феодально-крепостнической эксплуатации. При этом карательные меры, естественно, применялись в отношении не только помещичьих крестьян, но и прочих групп трудового населения. Например, Сенат, «по доношению» управителя московской государственной суконной мануфактуры В. Суровщикова, распорядился 22 апреля наказать батогами и плетью участников стачки, произошедшей на этой мануфактуре в конце февраля 1762 г.

Наиболее полно и четко позиция правительства Петра III по крестьянскому вопросу была сформулирована 19 июня в акте, изданном по поводу бунтов крепостных в Тверском и Клинском уездах. Обращает на себя внимание, что этот акт, появившийся по конкретному поводу, был оформлен не как указ, а как манифест — тем самым подчеркивалась особая важность этого документа. «С великим гневом и негодованием уведомили мы, — сказано здесь, — что некоторых помещиков крестьяне, будучи прельщены и ослеплены рассеянными от непотребных людей ложными слухами, отложились от должного помещикам своим повиновения . . . Мы твердо уверены, что такие ложные слухи скоро сами собою истребятся и ослепленные оными крестьяне . . . о том расскаются и стараться будут безмолвным отныне повиновением своим помещикам заслужить себе прощение» [там же, № 11577]. Правда, здесь не говорилось, какие именно слухи распространялись среди крестьян. Однако текст манифеста (в том числе и приведенный отрывок) не оставлял сомнений относительно характера таких слухов: речь шла об ожидавшемся крестьянами освобождении от крепостной зависимости. Чтобы пресечь «ослепление» крестьян, с одной стороны, и успокоить дворян — с другой, в манифесте торжественно подтверждалось: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать». Это был последний манифест, изданный от имени Петра III. И симптоматично, что в нем со всей ясностью, без каких-либо недомолвок заявлялось о незыблемости устоев крепостничества.

Но почему в таком случае уже при его жизни в народе стали распространяться слухи об ожидаемой «вольности»? Потому, что избавление от помещичьего произвола было давней народной мечтой. А ряд мер, проведенных при «третьем императоре» и отчасти связанных с поддержкой пробуржуазных тенденций (например, стимулирование вольнонаемного труда), казалось, предвещал это и, естественно, истолковывался крестьянством в свою пользу.

Свою роль сыграла и социальная демагогия, применявшаяся правительством Петра III. Так, именным указом 7 февраля (№ 11436) «за невинное терпение пыток дворовых людей» была пострижена в монастырь помещица Зотова, а ее имущество конфисковано

для выплаты компенсации пострадавшим. Вскоре сенатским указом 25 февраля (№ 11450) за доведение до смерти дворового человека воронежский поручик В. Нестеров был навечно сослан в Нерчинск. При этом в законодательстве впервые убийство крепостных было квалифицировано как «тиранское мучение». Нечто подобное, но в еще большей мере сформулированное «на публику», видим мы в именном указе 9 марта Военной коллегии (№ 11467). В нем предписывалось: «. . . солдат, матросов и других нижних чинов. . . не штрафовать отныне бесчестными наказаниями, как-то батожем и кошками, но токмо шпагою или тростью». При всей сомнительности подобной «гуманности» эти и некоторые другие послабления порождали в народе определенные надежды.

Росту социальных иллюзий, совершенно независимо от намерений правительства, способствовали меры по более четкому отделению крепостных от остальных групп крестьянства и казачества. Уже 27 декабря 1761 г., т. е. на второй день прихода Петра III к власти, указывалось «войску Запорожскому обиды не чинить». Земли, отошедшие в 1752 г. под Новую Сербию, но остававшиеся пустующими, передавались казакам, а гетману предлагалось произвести описание «всем запорожским землям и угодьям» и, «положа на карту, представить в правительствующий Сенат» [97, т. 15, № 11393]. Эти меры означали подтверждение особого статуса казачества, сохранявшегося до 1775 г., когда Запорожская Сечь была Екатериной II ликвидирована. Ту же цель — прямого подчинения не помещикам, а государству — преследовали и указы (№ 11507, 11527), которыми однодворцы Белгородской, Воронежской и Орловской губерний определялись в ведение местных властей. Принципиальное значение имело решение Сената 22 января, согласно которому государственные крестьяне, подобно дворянам, имеют право нанимать вместо себя рекрута при условии, что он «подлинно вольный и никому по крепости не принадлежит» [97, т. 15, № 11413]. Тем самым получило официальное закрепление превосходство социального статуса государственных крестьян над крепостными. Под этим углом зрения в глазах крестьянства особые ожидания вызвала намеченная Петром III в указах февраля—апреля 1762 г. секуляризация монастырских вотчин: проживавшие там крестьяне освобождались от прежних крепостей и переводились на положение «экономических» (т. е. государственных) с закреплением за ними тех земель, которые они фактически обрабатывали. По подсчетам А. Ф. Бюшинга, под действие реформы должно было подпасть 910 866 душ крестьян мужского пола [133, с. 51]. Помещичьи крестьяне, знавшие по манифестам о готовившемся переводе монастырских крестьян в разряд государственных, увидели в этом один из путей освобождения от ненавистного крепостного права.

Наконец, еще один и, пожалуй, самый радикальный шаг правительства Петра III, заключался в принятии законов, регулировавших положение раскольников — а ведь среди них, наряду с купцами, значительную массу составляли крестьяне. Этот шаг являлся ядром политики веротерпимости, которую император стремился реализовать. Уже 29 января был издан именной указ (№ 11420), которым Сенату предлагалось разработать положение о свободном возвращении староверов, бежавших в прежние годы из-за религиозных преследований в Речь Посполитую и другие страны. Возвращавшимся предлагалось по их усмотрению поселяться в Сибири, Барабинской степи и некоторых других местах. Им разрешалось пользоваться старопечатными книгами и обещалось «никакого в содержании закона по их обыкновению не чинить».

Эти меры Петра III во многом напоминают те, которые в Пруссии провел к тому времени Фридрих II, а в Австрийской монархии спустя почти два десятилетия, в 1781 г., объявит Иосиф II. В них в определенной степени отразились популярные в общественном сознании эпохи Просвещения стереотипы, в частности идея свободы совести, но истолкованная и приспособленная к интересам господствующих классов феодально-абсолютистских государств. Ибо в основе такого курса, в конечном счете, лежали соображения экономической пользы: стремление удержать от побегов значительную часть трудоспособного городского и, особенно, сельского населения, а также понимание, что



только силой сделать это нельзя. Характерна мотивировка указа. В России, говорилось в резолюции Петра III, наряду с православными «и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники — христиане, точно в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». В ближайшие недели были изданы дополнительные указы о защите раскольников «от чинимых им обид и притеснений» и манифест, которым бежавшим за рубеж «великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам» разрешалось возвращаться до 1 января 1763 г. «без всякой боязни или страха».

А как обстояло с внешнеполитической деятельностью Петра III и поддерживавшей его дворянской группировки? Рассмотрение этой важной и до конца не исследованной темы выходит за рамки стоящих перед нами задач. Отметим лишь, что здесь с особой силой проявились личные пристрастия нового императора, его давние симпатии к Пруссии и Англии, антипатии к Австрии и Франции. Неудивительно, что, едва вступив на престол, он осуществил переориентацию международной политики русского правительства. По этому поводу в «Истории дипломатии» сказано: «Не считаясь с государственными интересами, которые привели к вступлению России в антирусскую коалицию, Петр III и его окружение резко изменили направление внешней политики, заключив с Пруссией не только мир, но и союз» [56, с. 855]. Для Фридриха 11 то и другое было выгодно: по его собственному признанию, он получил гораздо больше того, на что мог надеяться. Но и Петр III, со своей стороны, получал от короля ряд гарантий, в том числе обещание «действительно и всеми способами» содействовать ему в возвращении Шлезвига из-под датской оккупации вплоть до оказания военной помощи), а также поддержать избрание курляндским герцогом (вместо одиозного Э. Бирона) принца Георга Людвига, дяди императора, а на королевский престол Речи Посполитой — дружественного России кандидата. Осуществление этого плана поставило бы Фридриха II в политическую блокаду.

Одновременно Петербург выступил с интересной внешнеполитической инициативой: 12 февраля представителям иностранных держав была вручена декларация об установлении в Европе всеобщего мира. Во избежание «дальнейшего пролития человеческой крови» стороны должны были прекратить военные действия и добровольно отказаться от сделанных в ходе Семилетней войны территориальных приобретений [127, с. 46]. Русские предложения встретили более чем сдержанный прием со стороны правительств антипрусской коалиции, особенно в Иене и Париже. Французский посланник барон Л. Бретейль в февральской депеше в гротескной форме обрисовал свою беседу по этому поводу с Петром III. Его неоднократно повторенные слова «Что же касается меня, то я хочу мира» Бретейль счел очередной причудой подвыпившего «северного деспота» [14, карт. 24, № 9, л. 9—11]. Между тем, уже в январе начались переговоры с Берлином о размене военнопленными и частичном отводе войск в Россию (в их составе чуть позже вернулся домой и Е. И. Пугачев). Солдатам заграничного корпуса было обещано скорейшее возвращение на родину.

Правда, привлекательность всех этих шагов вскоре была сведена на нет самим Петром III: часть русской армии была придана в помощь Фридриху II, приняла участие в боевых действиях против недавней союзницы — Австрийской монархии. К тому же Петр III лихорадочно готовился и к осуществлению своего давнего замысла — начать военные действия против Дании за возвращение Шлезвига.

Следует, впрочем, подчеркнуть, что при всей своей непоследовательности и нетерпеливости Петр III отнюдь не был склонен к безграничным уступкам Фридриху 11. Как ни странно, скорее даже наоборот. Австрийский посланник Ф. К. Мерси, к Петру III вовсе не расположенный, в депеше 14 апреля так передавал его слова по этому поводу: «Он сделал уже очень много на пользу короля прусского; теперь ему, государю русскому,

нужно подумать о себе и позаботиться о том, как ему подвинуть собственные свои дела и намерения. Теперь он не может выпустить из рук королевства Пруссию, разве только если король поможет ему деньгами» [106, т. 18, с. 267]. Это — не случайно брошенная фраза и не пустая застольная болтовня, а реальность, имеющая документальное подтверждение. В подписанных Россией и Пруссией 24 апреля и 8 июня трактатах (№ 11516, 11566) содержалась оговорка, что в случае обострения международной обстановки вывод русских войск с территории Пруссии приостанавливается. Практические выводы из этого Петр III сделал довольно рано: уже 14 мая им был подписан указ Адмиралтейской коллегии. В нем говорилось, что по причине «продолжающихся в Европе беспокойств не может армия паша из нынешних ее мест скоро возвращена быть, но паче же принуждена неотложно пополнять отсюда заведенные единожды для нее магазины». В соответствии с этим повелевалось подготовить к выходу в море кронштадтскую эскадру («но до указа нашего не отправлять»), а ревальскую эскадру под командованием контр-адмирала Г. А. Спиридова, наоборот, как можно скорее послать «крейсировать от Рижского залива до Штетинского, прикрывая транспортные суда» [23, л. 12].

Нашли ли во внешнеполитическом курсе правительства Петра III отражение какие-либо славянские аспекты? Едва ли у самого императора — и здесь можно согласиться с Е. Р. Дашковой [44, с. 37] — существовал к этому самостоятельный интерес, пусть даже в той мере, как у его предшественницы Елизаветы Петровны. Тем не менее сама жизнь, реальные интересы и потребности вынуждали его считаться с традиционными связями России со славянами. Заметную роль в этом играл религиозно-политический фактор. Известно, что в договоре 8 июня русское правительство обязалось защищать права православного населения Речи Посполитой, т. е. украинцев и белорусов, значительная часть территории которых в то время еще входила в состав этого многонационального государства. Но лишь этим дело не ограничилось. Факты свидетельствуют, что в политике правительства Петра III отразился (успел отразиться!) и интерес к южным славянам, основная масса которых находилась под османским игом, а отчасти — под властью Венецианской республики и Австрийской монархии. В крайне сложном положении была Черногория, зажата между османами и венецианцами. Понятно, что балканские славяне видели в лице родственной по языку и вере России своего заступника, а в лице императора — своего покровителя. Со всей очевидностью это обнаруживает послание черногорских митрополитов Саввы и Василия, направленное 6 апреля на имя Синода. Они просили защиты от происков Венеции, которая натравливала на Черногорию султанские поиски и вмешивалась в дела местной православной церкви. «Ныне, — говорилось в послании, — вздумали венециани и начели российским печатом на славонски церковные книги печатит униятски, чтобы российского имени не било в славенском здешнем народе, черногорском и делматинском, сербском и болгарском и харвацком». Авторы послания просили Синод от имени императора «письменно учинить представление оной Венецианской республики, да престанут от оногo тиранства к право-[сла]вным архиереям и народу черногорскому» [90, с. 262—263]. На документе сделана пометка: «Докладывано ноября 1-го 1762 г.», т. е. уже при Екатерине II. Однако встречный демарш по черногорскому посланию был сделан еще при Петре III, причем довольно скоро — уже в конце мая.

Сведения об этом мы нашли в донесении русского посланника в Вене Д. М. Голицына на имя Екатерины от 23 июля 1762 г. Он сообщал, что «во время прежнего правления» рескриптом 30 мая ему было поручено вручить венецианскому посланнику в Вене «промеморию по причине претерпеваемых греческого исповедания народом великих от римского священства обид и притеснений». Далее Голицын извещал об ответе: «. . . в рассуждении заступления Российско-императорского двора» власти Венецианской республики «вновь отправили указы с повелением, дабы впредь ни малейшие обиды и притеснения чинены не были» [11, 1762, № 398, л. 23-23 об.]. Хотя указы, как видно, рассылались только в пределах венецианских владений, слухи о демарше России не могли

миновать соседней Черногории и прилегающих славянских областей Османской империи. Это способствовало и популяризации императора, тем более, что его имя было созвучно имени Петра Великого, авторитет которого в южнославянской среде был в XVIII в. очень мысок.

Зато Екатерина II, судя по тональности донесения, о заявленном протесте не знала. Иначе Голицыну не потребовалось бы излагать предыстории венецианского ответа, деликатно именуя царствование Петра III «прежним правлением».

Столь быстрая и решительная реакция на послание черногорских митрополитов заставляет задуматься о многом. В частности, о возможных намерениях правительства Петра III относительно политики в османском вопросе. Известно об этом немного. Да и неудивительно: «прежнее правление» было слишком непродолжительным, чтобы подобные намерения могли вылиться в сколько-нибудь отчетливые планы. Но в существовании таких намерений едва ли можно сомневаться. Сошлемся вновь на хорошо известный и опубликованный «во всеобщее сведение» указ о коммерции, в котором подчеркивалось, что «нет государства в свете, положение которого могло б удобнейшим образом быть к произведению коммерции, как нашего в Европе». Далее, в частности, говорилось, что у России «в самый Египет и Африку по Черному морю, хотя еще неотворенная, но дорога есть».

Как красноречиво это слово «еще»! Ведь исконная и жизненно важная для экономики страны дорога через причерноморские степи была на несколько столетий «затворена» Османской империей и ее сателлитом Крымским ханом. «Отворить» ее было невозможно без борьбы с ними. А это полностью совпадало с интересами славянского населения Балкан, издавна ожидавшего помощи от России для своего освобождения от иноземного ига. Сложное переплетение этих факторов потенциально создавало для правительства Петра III необходимость в недалеком будущем серьезно заняться славянским вопросом. В сущности первые признаки этого уже имелись. И хотя они были еще скромными, но начало было положено. И потому в зарубежной славянской среде, прежде всего у южных славян, возникали новые надежды, в отголосках сопряженные с именем Петра III.

Характеризуя в самых общих чертах ведущие тенденции его внутренней и внешней политики, можно отметить наличие в ней признаков курса «просвещенного абсолютизма». Правда, на деле это были либо только замыслы, не всегда отчетливые и реалистические, либо начала дел, не доведенные до воплощения. Но любопытная и многозначительная деталь: придя к власти, Екатерина II сперва стала отменять или дезавуировать ряд действий своего предшественника. Так, она попыталась отменить манифест 18 февраля о дворянской вольности (согласно указу 11 февраля 1763 г. служба дворян вновь была объявлена обязательной); была приостановлена секуляризация церковных имуществ, а толки об этом даже объявлены «фальшивыми»; заявлялось об отказе от военного союза с Фридрихом II и др. Но в конце концов императрица была вынуждена отступить. Однако, отказавшись от военного союза с Фридрихом, она не денонсировала заключенного с ним мирного договора, но просто вывела русские войска из Восточной Пруссии. В декабре 1762 г. было издано два указа, фактически подтверждавшие аналогичные указы Петра III о дозволении беглым раскольникам вернуться на родину (это право использовал, как мы видели, Е. И. Пугачев). После продолжавшегося некоторое время заигрывания с верхушкой православного духовенства в 1764 г. Екатерина все же провела секуляризацию, распространив ее в 1768 г. и на территорию Украины. В числе других привилегий в Жалованной грамоте дворянству в 1785 г. было подтверждено освобождение дворян от обязательной военной службы. Одновременно была издана Жалованная грамота городам, в которой отчасти были закреплены идеи о повышении значимости городского сословия, над которыми почти четверть века назад размышлял Петр III. В ходе русско-турецких войн решались те самые задачи открытия черноморских путей, о чем говорилось в указе о коммерции 1762 г.

Отмечая подобную сопряженность, С. С. Татищев в свое время не без удивления отмечал: «Как ни велико, на первый взгляд, различие в политических системах Петра III и его преемницы, нужно, однако, сознаться, что в нескольких случаях она служила лишь продолжительницей его начинаний» [106, т. 18, с. VI]. Впрочем, удивительного здесь ничего не было: просто многие шаги, предпринимавшиеся по инициативе Петра III и его советников, отвечали объективным, назревшим потребностям развития страны. И опыт истории подтверждает это: при всей своей ограниченности как по времени, так и по содержанию, шестимесячное царствование незадачливого Петра III в известном смысле явилось как бы предварительным наброском мер, которые Екатерина II была вынуждена осуществить впоследствии — постепенно, в ряде случаев с большими колебаниями и оговорками.

Несмотря на маскировку прекраснородушной просветительской фразеологией, ее почти тридцатипятилетнее правление с полной очевидностью обнажило антинародную сущность самодержавия, глубоко враждебного подлинным интересам прогрессивного развития России. «Екатерина, — писал А. С. Пушкин, — уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность» [102, т. 11, с. 16].

И по мере того, как диссонансы «матернего попечения» императрицы стали ощущаться — а произошло это довольно скоро — многие меры, сказанные с именем Петра III начали представляться внезапно возникшей, но неосуществленной надеждой. И не только в народном сознании. Вольнодумец Ф. В. Кречетов, в 1793 г. пожизненно заточенный в Петропавловку, намеревался «объяснить великость дел Петра Федоровича». Молодой поэт А. Ф. Воейков в начале 1801 г, на заседании «Дружеского литературного общества» говорил, что секуляризация монастырских деревень ставит имя Петра III «подле имен величайших законодателей» [72, с. 303]. Г. Р. Державин в «Объяснениях» на свои сочинения в начале XIX в. называл отмену Петром III Тайной канцелярии в числе «монументов милосердия» [45, с. 200]. Пусть реальным характер объявленных при «третьем императоре» законов и их общественное толкование далеко не всегда совпадали друг с другом; а нередко имели и диаметрально противоположный смысл. В народной памяти они сохранялись именно как «начинания», породившие многообещающие надежды. Ведь трактуемые в связанных с именем покойного императора актах крестьяне, раскольники, казаки, однодворцы, солдаты, работные люди и некоторые другие социальные слои — это как рай то категории трудового населения, среди которых первоначально зародились, оформились и получили развитие идеи народного самозванчества в личине «чудесно спасшегося» императора. Одновременно стимулирующую роль в его посмертной, а отчасти и прижизненной идеализации сыграла манера его поведения.

Заметим, что все современники Петра III, в частности его воспитатель Я. Я. Штелин, даже его противники и недоброжелатели, в том числе и австрийский посланник Ф. К. Мерси-Аржанто и А. Т. Болотов, отмечали такие черты характера императора, как жажда деятельности, неутомимость, доброта и доверчивость. Я. Я. Штелин добавлял еще: «... довольно остроумен, особенно в спорах», наблюдателен и смешлив. Но наряду с этим он и же писали о его вспыльчивости, гневливости, поспешности, неумеренной болтливости, отсутствии политической гибкости. И еще одна существенная черта характера Петра Федоровича, подмеченная современниками и присущая ему как до, так и после восшествия на трон, т. е. черта устойчивая, — он «враг всякой представительности

и утонченности». В этом согласны Ш. Л. Фавье и Е. Р. Дашкова. Он не любил, например, следовать строгим правилам придворного церемониала и нередко сознательно нарушал и открыто высмеивал их. Делал он это далеко не всегда удачно. И излюбленные им забавы, часто озорные, но в сущности невинные, шокировали многих при дворе. Особенно, конечно, людей, с предубеждением относившихся к императору. А. Т. Болотов, например, и спустя четыре десятилетия с содроганием вспоминал о страсти Петра III к курению (Елизавета Петровна запаха табачного дыма не выносила и курение при ней являлось вызовом); или о том, как однажды император и его приближенные, развеселившись, стали «все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать» [33, с. 205].

Эпатируя с гибельным восторгом светское общество, Петр III при случае охотно заигрывал с простыми людьми. И это получало отзвук и по-своему воспринималось в народе.

В письме Фридриху II 15 мая 1762 г. Петр, например, вспоминал слова солдат Преображенского полка, желавших ему, тогда еще наследнику престола, скорее стать императором. Об этом, по признанию его, он слышал «много раз» [95, с. 15]. А это означало, что непринужденные разговоры с нижними чинами, в том числе и на весьма щекотливые политические темы, происходили у него многократно. Эту манеру поведения Петр Федорович сохранил и после вступления на престол. Так, 2 апреля он побывал на Шпалерной фабрике, затем посетил Летний сад, а оттуда пешком направился во дворец, по пути заглянув к своему бывшему камердинеру Петру Герасимову [31, с. 14]. В подобном поведении проявились такие качества характера Петра, как общительность и искренняя любознательность. Но, конечно, во всем этом присутствовал и определенный тактический расчет. И в доверительной переписке с Фридрихом II, не скрывая этого, он не без гордости заявлял, что часто ходит пешком, один и без охраны. Это было непривычным для окружающих, вызывало толки в народе и способствовало популярности его личности.

И все же скоротечный переворот, лишивший Петра III престола и жизни, — факт бесспорный. Но допустимо ли класть этот факт в основу оценки его личности? Июньские события 1762 г. скорее свидетельствовали о другом: не столько о скудоумии монарха, сколько о том, что, считая свои права неоспоримыми, он всей своей жизнью, псом своим характером не был подготовлен к борьбе за власть. Будучи по масштабам той эпохи достаточно образованным человеком, Петр III не был ни злодеем, ни интриганом. Этим он и отличался от вереницы своих предшественников и преемников, прежде всего от Екатерины II. Он был необычен среди них.

Н. К. Загряжская незадолго до смерти (а она скончалась в 1837 г. в возрасте 90 лет), рассказывая А. С. Пушкину о днях своей молодости, так обмолвилась и о Петре III: «Я была очень смешлива; государь, который часто ездил к матушке, бывало нарочно меня смешил разными гримасами; он не похож был на государя» [102, т. 12, с. 177]. Эти слова престарелой «кавалерственной дамы» удивительно метко схватили одну из любопытнейших психологических граней характера будущего персонажа народной легенды. «Непохожесть», на всю жизнь запомнившаяся Н. К. Загряжской, означала, видимо, нечто непривычное, не соответствующее обыденным, традиционным представлениям об образе императора реальному поведению его реального носителя. Нечто подобное чуть позже происходило и с императором Иосифом II, на которого чешские крестьяне возлагали столько надежд. Бывая на военных маневрах в Чешских землях, он также любил неожиданно и без сопровождающих лиц появляться среди народа и наблюдать за впечатлением, которое при этом он производил. Это, конечно, была сознательная игра, рассчитанная на завоевание популярности. Так, в 1769 г. он собственноручно провел плугом две борозды в деревне неподалеку от Брно. «Непохожесть» Петра III (как и Иосифа II) в народном сознании выступала в качестве своего рода итогового, обобщенного показателя. В свете этого многие исходные элементы легенды получают дополнительное психологическое объяснение. Здесь и происходило

соприкосновение реальных фактов с народной фантазией. Из многих возможных примеров назовем лишь некоторые.

Показательно уже то, что первые неясные толки о «спасении» императора до весны 1763 г. наиболее активно циркулировали (а возможно и зародились?) среди петербургских солдат и унтер-офицеров. Не менее примечательно и то, что большая часть самозванцев, принявших имя Петра III, происходила из солдатской среды или была с ней тесно связана. И в дальнейшем воспоминания об изданных при Петре III законах о положении однодворцев, раскольников, отчасти казачества (о запорожцах и украинском торге) создавали популярность его имени в этих и близких к ним кругах. По мере распространения легенды по России и за ее пределами в ней, наряду с вымышленными, фигурировали и отдельные подлинные, хотя и переосмысленные на свой лад реалии.

Действительно, многие законы, во всеуслышание объявленные, ввиду краткости царствования Петра III так и не успели вступить в силу. Как бы они выглядели на практике, какие бы имели последствия — все это осталось неизвестным. Но именно такая неопределенность и открывала в народной среде простор для всякого рода предположений, домыслов и толкований. Она порождала в массах — от крепостных до казачества и однодворцев — атмосферу нетерпеливого ожидания каких-то неизвестных, но желанных перемен. И, конечно, прежде всего в самом злободневном и наблевшем вопросе — крестьянском.

Отталкиваясь от того, что официально становилось известно, народное сознание пыталось дать происходящему свое собственное, антикрепостническое толкование. Отсюда и рождались те «ложные слухи» и отказы от «должного помещикам своим повиновения», о чем «с великим гневом и негодованием», но и с призывом к «раскаянию» говорилось в манифесте 19 июня.

Определенную роль сыграли слухи и о том, что реальный Петр III ходил по Петербургу без охраны, заговаривал с простыми людьми и, стало быть, выступал «за народ», отчего мол и был свергнут «боярами». Наиболее четко, пожалуй, это было сформулировано в обращении пугачевского полковника И. Н. Грязнова к жителям Челябинска 8 января 1774 г. «Дворянство же, — заявлял бывший симбирский купец, — премногощедрого отца отечества, великого государя Петра Федоровича за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянах указать, чтоб у дворян их не было во владении . . . изгнали всяким несправедным наведением» [48, с. 271]. Впрочем, мотив вражды дворян к царю был давним. Еще в 1747 г. крестьянин Данила Юдин был арестован как автор «возмутительных писем» [123, с. 138], в которых обвинял придворных в намерении «извести великого князя Петра Федоровича» (в этом можно найти переосмысленные по-своему отзвуки конфликтов наследника с Елизаветой Петровной и ее окружением). Во всяком случае, представления, о «народолюбии» Петра III были стойкими и проникли к черногорцам и чехам. М. Танович, сподвижник Степана Малого, рассказывал, как русский царь принимая его и пил за здоровье черногорцев. Жертвенный мотив — намерение отдать жизнь за освобождение чешских крестьян — звучал в легенде о «русском принце».

Закреплению таких представлений способствовали и события, следовавшие после прихода Екатерины II к власти. «Гневный» манифест ее предшественника, изданный 19 июня, психологически был погашен социальным шоком конца этого и начала следующего месяца (хотя 3 июля императрица почти дословно повторила эти «увещевания»). Но спустя несколько месяцев она заговорила другим, далеким от высокопарной риторики языком. В указе 8 октября 1762 г. с бунтующими крепостными предлагалось поступать «яко с сущими злодеями» вплоть до применения против них пушек! Столь очевидный контраст не мог не усугубить неприязненного отношения к новой императрице, действия которой недвусмысленно и грубо затаптывали малейшие надежды на изменение положения крестьянства, а они, было, возникли весной 1762 г.

Выводы, которые делало для себя народное сознание, не означали, конечно, что Петр III был «лучше» Екатерины II. Но то, что она была «хуже» — в народе ощущалось все более и более. Контраст этот в последующие годы усиливался. А идеализированные воспоминания о попытках покойного императора навести элементарный порядок в администрации становились особенно привлекательными на фоне безнравственности двора Екатерины и лихоимства окружавших ее вельмож. «Но если рассуждать, — говорил со всей ясностью Г. Р. Державин, — что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать может быть и опасалась: ибо они ее поддерживали» [45, с. 181]. Так баланс народного сознания с самого начала склонялся против Екатерины II, приведя к ретроспективной идеализации «прежнего правления».

### Кто же самозванец?

Манифесты, которыми открылось царствование Екатерины II, можно с полным основанием рассматривать не только как политические, но и как публицистические документы, содержавшие ядро екатерининской легенды о Петре III. Позднее Екатерина станет эту легенду развивать, уточнять и детализировать в разного рода правительственных актах, в разговорах с приближенными, в переписке с Вольтером и другими европейскими просветителями, но особенно — в своих «Записках». Все это будет. Пока же достоянием гласности являлась официальная версия, противоречиво и с недомолвками изложенная в манифестах конца июня—начала июля 1762 г.

Из этих манифестов народ узнавал, что думают, а точнее сказать, как правящие верхи понуждают думать о прошлом и начинавшемся новом правлении. Но думал по-своему и народ. И чем более он думал, тем менее верил правительственной риторике. Нет, не напрасно назвал Ф. Энгельс июньские события «низостью» и «дрянью» [5, с. 282]. Официальная версия этих событий стала вызовом, столкнувшись с которым народная культура попыталась выработать собственный ответ, разумеется, на уровне массового политического сознания той эпохи, т. е. в рамках наивного монархизма.

Дело в том, что при нарушении естественного родового порядка наследования престола, по верному замечанию Б. А. Успенского, «тот, кто реально занимает царский трон, может, в сущности, сам трактоваться как самозванец» [116, с. 206]. Но как раз это нарушение и юридически и фактически составляло важнейшую особенность прихода к власти Екатерины II. Именно в эти дни конца июня и начала июля 1762 г. берут истоки народные представления о Екатерине II как о царице «ложной», фактически — самозванной. В народном сознании тех лет она нередко рисовалась самозванной правительницей иностранного происхождения, приносящей вред России. «Что ныне над народом российским сочиняетца иностранным царским правительством, хотят российскую землю раззорнтъ и привести в крайнюю нужду, однако, сколько потерпят, а Россию не раззорят. Токмо не будет ли им самим раззорения, а уже время наступает к бунту. . . а государыню выслать в свою землю», — говорилось, например, в уже упоминавшемся письме 1764 г. [108, с. 67].

За всем этим нет нужды усматривать, а тем более выискивать некие националистические, а тем более антинемецкие аспекты народного сознания. Конечно, Екатерина II была немкой. Но ведь немцем по отцу был и Петр III, однако лишь на этом основании его не считали «чужим». Сошлемся на любопытный эпизод, относившийся к 1776 г. В Шлиссельбургскую крепость был доставлен солдат Иван Андреев, настойчиво заявлявший, что является сыном Петра Федоровича, которого он называл даже не великим князем или императором, а «голстинским принцем». Эту «тайну рождения» ему якобы открыл крестьянин деревни Крестово Олонецкого уезда Андрей Зиновьев, у которого он

воспитывался в детстве. Андреев просил разрешения уехать в свое отечество — в Голстинию [81, с. 315—322].

Свои «немецкие» черты в той или иной форме подчеркивали некоторые самозванцы, выступавшие в 60—70-х гг. под именем Петра III. Наиболее сознательно и последовательно делал это Е. И. Пугачев. Так, он распространял слухи о «знании» им немецкого языка, проявлял определенное внимание к поволжским немцам—колонистам, воззвания к которым от его имени иногда составлялись по-немецки, использовал, пусть и короткое время, гольштейнское знамя из Ораниенбаума, что сильно беспокоило Екатерину II и т. д. Точно также лица, общавшиеся в Черногории со Степаном Малым, отмечали, что он в ряде случаев носил «немецкий» костюм и, наряду с другими языками, говорил по-немецки. А отдельные его собеседники, скорее всего под гипнозом собственных представлений о реальном Петре III, даже усматривали и лице Степана Малого «немецкие» черты. Стало быть, в вопросе отношения к Екатерине II и Петру III их немецкое происхождение определяющей роли не играло. Народному сознанию представлялось важнее установить не национальность, а меру «истинности» или «ложности» монарха.

Оставаясь в целом в круге идей и представлений наивного монархизма, ответ выглядел как своего рода контроверза официальной екатерининской легенды: знак «минус» заменялся знаком «плюс» (или наоборот). Здесь действовал принцип логической оппозиции: «истинный» — «ложный». Касалось это всех составных частей легенды и оказывало решающее влияние на поведение носителей имени Петра III, предопределяя успех или неуспех задуманного предприятия. Прежде всего, конечно, в самый ответственный момент первоначального публичного и массового признания объявлявшегося претендента на роль «третьего императора». Но и позднее самозванец должен был постоянно подтверждать эту роль своим поведением — доказательность шла рука об руку с нормативностью: народный мессия должен был повседневно доказывать свой статус демонстрацией чудес. Из носителя и творца легенды он со временем превращался в ее пленника.

Легенда создавалась народом, одновременно реализуясь и развиваясь в поведении ее конкретных носителей. Они выступали в качестве своего рода переменных членов уравнения, в котором константой была вера в «истинность» самозванца. В этом до определенного момента, пока движение было на подъеме, заключалась сила легенды. Поэтому, например, арест очередного самозванного «императора» не влиял на жизнеспособность самой легенды. Она началась с веры в «чудесное спасение» Петра III, вместо которого умер или убит кто-то другой. Теперь это же объяснение вполне закономерно переносилось на самозванцев, выступавших под его именем. Да, поймали какого-то Колченко, какого-то Кремнова, какого-то Рябова и даже казака Пугачева, но «настоящий» Петр III спасся и вообще отношения к ним не имеет. И отмеченное К. В. Чистовым включение эпизода расправы с Ф. И. Богомолковым в биографию «Петра III» — Пугачева с этой точки зрения симптоматично: личность носителя образа «народного царя» цементировала легенду, объединяла последовательные этапы ее формирования.

По мере упадка или отступления массового движения положение начинает меняться. Происходит «дробление» легенды: носители, используя одно и то же имя, выступают разобщенно, зачастую одновременно. В России с середины 1774 г., частью параллельно с Е. И. Пугачевым, частью после его ареста появляются местные самозванцы. Одни принимали имя Петра III, другие — самого Пугачева. К числу сходных примеров можно отнести, впрочем, неудачную, попытку Сеновича объявить себя вторым, после Степана Малого, Петром III в Черногории. Все это предвещало упадок легенды, который и начался после 1775 г. Все же, слухи о том, что «третий император» якобы жив, избег ареста и продолжает скрываться в народе, а как прямое следствие — появление под именем Петра III отдельных самозванцев отмечено для десяти-



летий, последовавших в России за Крестьянской войной, особенно в 1776—1788 гг. У зарубежных славян такие прецеденты более не повторялись, во всяком случае о них ничего не известно. Однако случаи самозванства под другими именами бывали. Так, в Чешских землях фольклорная ризация Иосифа II продолжалась и после того, как он в 1780 г. вступил на престол. Популярность личности бездетного императора способствовала тому, что после его смерти, на рубеже XVIII—XIX вв. было несколько попыток использовать его имя, в том числе зафиксирован и случай женского самозванства: некая авантюристка из Австрийских Нидерландов, до 1797 г. принадлежавших Габсбургам, объявила себя «дочерью» покойного императора.

В период своего апогея народная легенда об «истинном» государе-избавителе означала недвусмысленный ответ на вопрос, кто, с точки зрения народного сознания, являлся самозванцем.

### **... И иностранные государства небезызвестны**

Будучи легендой российского происхождения, она, как мы видели, проникла в зарубежную славянскую среду и получила там местную адаптацию в черногорском (Степан Малый) и чешском («Русский принц») вариантах. Когда же, а главное — как это происходило? Этот недостаточно освещенный вопрос для нашей темы является первостепенным, поскольку прямо касается межславянских контактов в сфере народной культуры.

Черногория была первой за пределами России страной, где легенда о Петре III стала не только известна, но и обрела живого носителя — Степана Малого, который появился здесь в 1766 г. Мысль, что с толками о «чудесном спасении» он познакомился в русской среде, высказана, как мы видели, давно. Приведенные дополнительные соображения подкрепляют догадку, что прибыл он в Россию скорее всего в составе какой-нибудь делегации южнославянского православного духовенства: не только с Балкан, как обычно считали, но, возможно, и из Австрии (например, из Воеводины). Когда могло это произойти?

В. В. Макушев, например, полагал, что это случилось «около 1760 г.» [77, т. 83, с. 34]. Но нельзя ли попытаться хотя бы несколько конкретизировать такую датировку?

Думается, она должна вытекать из пересечения и совпадения двух взаимосвязанных обстоятельств: времени наиболее интенсивных поездок южнославянских представителей в Россию и генезиса здесь легенды о Петре III. То и другое, как вытекает из сказанного ранее, происходило не «около 1760 г.», а несколькими годами позже — когда слухи о «чудесном спасении» императора породили первых самозванцев, выступавших под его именем. Примечательно, что районы их объявления — восточные области Украины и примыкавшие к ним Курская и Воронежская губернии как раз лежали вблизи путей с Балкан и из Австрии через Киев на Москву и Петербург. Происходило все это в 1764—1765 гг. К этим местам и к этому времени можно было бы с наибольшей вероятностью отнести знакомство Степана Малого с легендой.

Но ведь могло произойти и иное. Вспомним запись под 1762 г. в летописи Раваницкого монастыря, на которую ссылался А. И. Яцимирский. Ведь в ней утверждалось, что Петр III, счастливо избежав ареста, тайно направился к балканским славянам, долго странствовал между Дунаем, Савой и Константинополем, пока наконец не пришел в Черногорию. В этих словах легенда о «Петре III» — Степане Малом была как бы запрограммирована психологически. Русского царя на Балканах ждали так же, как ждали и угнетенные массы у него на родине. Степан Малый тоже странствовал, и ему было достаточно узнать о записи в раваницкой летописи, чтобы использовать ее в своих целях. Для этого ему даже не обязательно было посещать Россию, хотя, конечно, первое никак не исключало второго.

Ну, а «русский принц»? Каковы источники этой чешской народной легенды? По мнению Я. Вавры, к числу основных ее источников относились следующие.

Во-первых, сообщения местных, австрийских и чешских, и иностранных газет о Крестьянской войне в России. Хотя оценка происходивших событий соответствовала позиции правительства Екатерины II, все же при упоминании имени Е. И. Пугачева как самозванного Петра III в газетной информации проскальзывали упоминания об отмене им крепостного права и барщины, признание веротерпимости и аналогичные акции. Особый отклик находило это среди чешских крестьян и тайных некаатоликов.

Во-вторых, в роли информаторов выступали торговцы и другие лица, ездившие по делам из Чешских земель в Россию. Нельзя исключать и того, что носителями информации могли стать приверженцы гернгутеров, в том числе из среды поволжских колонистов — очевидцев и даже участников Крестьянской войны 1773—1775 гг.

В-третьих, в чешском народном сознании происходила своеобразная контаминация представлений о личности «Петра III» — Пугачева и подлинного Петра III, установившего союзнические отношения с Фридрихом II и издавшего ряд законов о прекращении гонений за веру. Последнее было особенно привлекательным для противников католицизма в Чехии и Моравии, которые имели тайные контакты со своими единомышленниками из соседней Пруссии. Так, в октябре 1774 г. под Чаславом группа чешских некаатоликов вручила Иосифу II петицию о предоставлении свободы совести. При разборе дела оказалось, что петиция была ими списана с текста, полученного от какого-то лютеранского проповедника из силезского города Стржелине (Штрелен). Этот город, в окрестностях которого находились и деревни чешских переселенцев, входил тогда в состав Пруссии.

Так, два идейных потока — зревшая в чешской народной культуре надежда на помощь «с Востока» и непосредственные отзвуки пугачевского движения — слились воедино и привели к формированию легенды о «русском принце» как избавителе чешских крестьян от социального и национального гнета. Конечно, возникновение этой легенды лежало в русле чешско-русских связей. И как знать, не отразилось ли в этом и воспоминание об общении с русскими солдатами? Ведь и в 1735—1736 гг. и в 1748—1749 гг. часть их стояла неподалеку от эпицентра легенды, в Хрудиме.

Обращает на себя внимание любопытная деталь: эволюция легенды о «русском принце» в Чехии во многом напоминает развитие легенды о Петре III в России. И там и здесь она выступала альтернативой официальному толкованию событий 1762 г. Упомянувшийся И. В. Пароубек в интересующей нас части своих хроникальных записей за тот год указывал: «Царь Петр дал обещание союза с австрийским домом, но, отступя от этого, перешел на сторону прусского короля Фридриха; он обещал русским при коронавании соблюдать православную веру, но потом заявил, что он кальвинист и все войско одел и муштровал на прусский манер. Он унижал православную веру, очень притеснял ее служителей и за это 9 июля был свергнут с трона. . . Говорят, царь Петр был очень расположен к пьянству» [141, с. 83]. Не трудно убедиться, что запись эта полна неточностей и ошибок: Петр III никогда не был сторонником русско-австрийского союза, короноваться он, как известно, не успел, равным образом никогда не объявлял себя кальвинистом и т. п. Однако в основе своей запись И. В. Пароубека восходит несомненно к аргументации екатерининских манифестов конца июня—начала июля 1762 г. Вместе с тем на Пароубека оказали влияние и отзвуки официального отношения к этим событиям со стороны австрийского правительства.

Ввиду прусских симпатий Петра III приход к власти Екатерины II был встречен правящими кругами в Вене с нескрываемым восторгом. Когда австрийский посол в Петербурге гр. Мерси-Аржанто сообщил о перевороте и о своем участии в нем, императрица Мария Терезия направила ему рескрипт, в котором писала, что «во всю жизнь она не получала известия, которое бы доставило ей большую сердечную радость, чем известие о счастливом восшествии на престол Екатерины» [106, т. 18, с. IV]. Эта

«сердечная радость», повлиявшая на общую тональность официальной позиции, и отразилась в записи И. В. Пароубека в причудливом сплыве с толками в местном населении. Напомним, что, кроме приведенных строк, он еще писал: свергнутого императора держат «в каком-то замке» (возможно, отзвук короткого пребывания Петра III в Ропше), а Екатерина II стала регентшей при малолетнем Павле (очевидно отзвук политического торга в Петербурге в первые недели и месяцы правления новой императрицы). На фоне всего этого уже известная мотивировка прибытия «русского принца» в Чехию не может не выглядеть решительной антитезой. Эволюция чешского и российского народного сознания оказывалась поразительно сходной. Не только по содержанию, но даже хронологически: восстание крестьян Чешских земель начиналось и протекало в месяцы, когда в России еще происходили арьергардные действия «пугачей».

Как видно на черногорском и чешском примерах, роль межславянских народных контактов в распространении легенды о Петре III бесспорна. Однако их конкретные пути и формы известны еще очень мало. Примечательны в этом смысле слова именного указа Е. И. Пугачева, обращенного 15 августа 1774 г. к донским казакам: «Довольно уже наполнена была Россия о нашем от злодеев (главных сенаторов и дворян) укрытии вероятным слухом, но и иностранные государства небезызвестны» [48, с. 50]. Что это — преувеличение, мистификация или отражение чего-то реального? Вспомним, что как раз в начале августа в ряды пугачевцев влилась группа добровольцев из волжских колонистов-«саксонов» (они, кстати, поименованы в указе в числе народов, которые «приняли и склонились под наш скипетр»). Эта среда уже называлась как возможный канал проникновения осведомленности о движении Е. И. Пугачева в Чешские земли — непосредственно или через тайных некатоликов, укрывавшихся в Пруссии.

Но ведь к тому времени в разных местах России постоянно или хотя бы по нескольку лет проживали (иногда компактными группами) южные славяне, поляки, чехи. . Их осведомленность о толках и слухах, ходивших в народе, не подлежит сомнению. Будучи явлением повседневным, обыденным, такие общения фиксировались лишь в чрезвычайных случаях и потому вызывали особое беспокойство царских властей. Боялись не столько утечки информации о самозванцах за границу, сколько, наоборот, проникновения аналогичных слухов из-за рубежа. Понятно, почему появление в монастыре Мариен-Айнзидель (Швейцария) какого-то Кирая Романова, выдававшего себя за «сына» покойной Анны Ивановны, вызвало беспокойство властей. Д. М. Голицын спешно уведомил об этом в августе 1768 г. самого Н. И. Панина. Еще больший переполох в Петербурге наделала пресловутая княжна Тараканова. В конце 1773—1774 гг. эта женщина без имени (видимо, польская еврейка, дочь трактирщика из предместья Варшавы — Праги) при поддержке части польской аристократической эмиграции заявляла о своих «правах» на российский престол как «дочь» Елизаветы Петровны. Операцией по ее поимке Екатерина руководила лично. В свете этого понятно, почему она настойчиво стремилась скомпрометировать в глазах черногорцев и других зарубежных славян Степана Малого и объявила всю западную границу империи на чрезвычайном положении только из-за слухов о якобы возможном его появлении в России. Здесь как раз на рубеже 60—70-х гг. среди южнославянских поселенцев участились волнения и проникновение известий о появлении, а главное — признании в Черногории «Петра III» казалось правящим кругам опасным и нежелательным.

Общение представителей разных славянских народов как в России, так и вне ее в распространении легенды о Петре III заняло далеко не последнее место.

Определенную посредническую роль в этом играла Речь Посполитая. Здесь жило родственное русским по языку и обычаям население. Кроме того, в ряде мест здесь обосновались русские старообрядцы, бежавшие из России от гонений со стороны царских властей и официальной церкви. Оппозиционность этой среды секрета не составляла, и лица, скрывавшиеся от гонений, всегда рассчитывали найти здесь языковое понимание, помощь и поддержку. Так, сибирский купец, сидевший еще при Елизавете Петровне в

Тайной розыскной канцелярии, рассказывал караульным, что ездил «в Польшу к староверам для согласия, чтоб Ивана Антоновича посадить по-прежнему в России на царство» [123, с. 133]. В 1764 г. у самой границы был задержан «Петр III» — Асланбеков, в эти края намеревался бежать Антон Головин, сержант того полка, в котором служил другой «Петр III» — Кремнев, объявившийся год спустя. Наконец, несколько дней на Ветке провел, как мы помним, в 1772 г. Е. И. Пугачев, что в фольклоризованной форме также преломилось затем в варианте легенды о Петре III.

Существовал, наконец, еще один путь, обладавший в контексте этой легенды особыми, специфическими чертами, — связь между Петербургом и Килем, столицей Гольштейна, правящим герцогом которого был с 1745 по 1762 г. Петр Федорович. Об этом хорошо знали в народе, и история с солдатом И. Андреевым, мнимым сыном «голстинского принца», подтверждает сказанное. В подобных случаях народные межславянские связи соприкасались и переплетались со связями славяно-германскими. При этом и отношение к событиям 1762 г. в России не было, естественно, одинаковым. Не затрагивая эту самостоятельную тему подробнее, сошлемся лишь на анонимно изданный в 1764 г. по-немецки трактат «Русские исторические рассказы о правлении и смерти Петра III» и построенный в форме писем, которые, по уверению автора, он получал от знакомого немца, жившего несколько лет в Петербурге и занимавшего высокий военный пост. В письме от 24 июля 1762 г. [147, с. 209—215] сообщается о смерти и погребении императора, осуждаются действия Екатерины II, а события сравниваются с историей царевича Дмитрия и Лжедмитрия I. Автор ссылаясь на Ж. Маржерета, в записках своих (1607) полагавшего, что в Угличе вместо царевича был убит кто-то другой. Но мог ли «полагать» иначе французский авантюрист, до приезда в 1600 г. в Россию успевший послужить нескольким хозяевам: в 1605—1606 гг. он командовал личной охраной Лжедмитрия I, а позднее поступил на службу ко Лжедмитрию II. Однако, ссылаясь на Маржерета, наш аноним в рассуждениях об обстоятельствах смерти Петра III вплотную подошел к идее возможного самозванчества, что, как мы знаем, вскоре и случилось на самом деле.

Начав в последние годы жизни (примерно, с 1802—1803 гг.) работать над исторической драмой «Димитрий», великий немецкий поэт Ф. Шиллер в числе других источников использовал и записки Маржерета. Изучение этих материалов побудило, по-видимому, Ф. Шиллера к уяснению для самого себя связи событий конца XVI—начала XVII вв. (царевич Димитрий в Угличе и Лжедмитрий) с династическими перипетиями XVIII в. На рукописи его незавершенной драмы, хранящейся в Ваймаре, нам удалось в 1979 г. обнаружить собственноручно составленное Ф. Шиллером родословие русских царей от Михаила Федоровича до Александра I. В нем отмечены без указания дат жизни и имена двух соперников-претендентов на российский престол: Ивана Антоновича и Петра III, который, как отметил Ф. Шиллер, был женат на Екатерине II. Связь этих генеалогических заметок с замыслом драмы о царевиче Дмитрие заслуживает особого рассмотрения. В данном случае, однако, они важны как свидетельство интереса в зарубежной, в том числе и немецкой, среде к династической истории XVIII в.

Об этом свидетельствует и выявленный нами в архиве Шлезвига автограф, ранее хранившийся в герцогской библиотеке в Киле. Документ, о котором пойдет речь, включен в подборку рукописных материалов, названную в описи «К истории 1762 г. Датские требования к Гамбургу. 1762. Убийство царя Петра III, 1762—1764» [26, л. 9].

Автограф очень краток. Он представляет собой листок бумаги, на котором написано латинское двустишие — пророчество. По-русски оно звучит примерно так:

«Петр III, божественный и почитаемый, восстанет и воцарится.

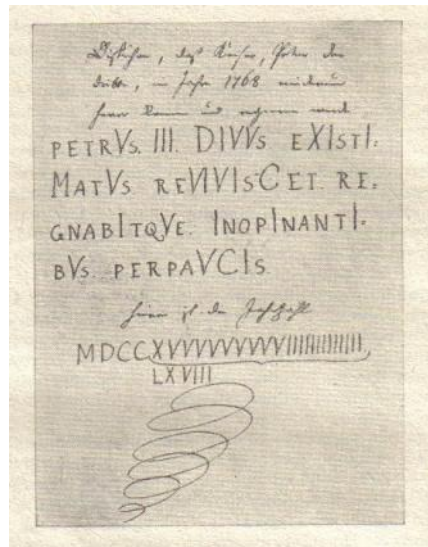
И будет это дивно лишь для немногих».

Вслед за текстом римскими цифрами проставлена дата! 1768. Можно лишь догадываться, что стояло за этой короткой записью. После смерти Петра III его номинальным преемником в Шлезвиг—Гольштейне (точнее, в Гольштейне, поскольку

Шлезвиг находился в руках Дании) был провозглашен несовершеннолетний Павел при регентстве Екатерины II. Уже в 1766 г. по ее поручению в Копенгагене открылись переговоры с Данией об обмене герцогств Шлезвиг и Гольштейн на графства Ольденбург и Дельменхорст. Это был давний план, против которого всеми силами сопротивлялся в свое время Петр III. Но теперь речь шла не просто об обмене, а о полном отказе России от прав на эти германские владения. Соответствующий договор был подписан 22 апреля 1767 г., а спустя несколько лет, 1 июля 1773 г., задним числом ратифицирован в Царском Селе Павлом. Одновременно утверждалась процедура передачи этих территорий его гольштейнскому родственнику, любекскому епископу Фридриху Августу, превращавшегося отныне в герцога Ольденбургского.

Когда же кильское пророчество возникло? Архивная единица хранения, в состав которой автограф входит, датирована 1762—1764 гг. На самом автографе сверху почерком XVIII в. по-немецки написана аннотация: «Двустипшие, что император Петр III в 1768 г. возвратится и будет царствовать». Но убедительна ли такая трактовка указанного в пророчестве года?

По смыслу архивного описания, пророчество возникло между 1762—1764 гг. В принципе, конечно, такое возможно: ведь переговоры по шлезвигской проблеме с Данией, начавшиеся в 1766 г., имели давнюю и хорошо известную в Киле предысторию. А слухи о намерениях Екатерины II полностью отказаться от прав России на Шлезвиг и Гольштейн могли просачиваться в местную среду или даже сознательно в ней муссироваться — по понятным причинам то или иное решение вопроса о будущем статусе герцогства имело для населения Гольштейна первостепенное значение. В таком случае пророчество могло бы рассматриваться как одно из своеобразных преломлений подобных слухов. И все же не слишком ли много «бы»?



**«Кильское пророчество» о скором возвращении в Гольштейн Петра III. Автограф. Из собрания архива г. Шлезвига**

Между тем ситуация значительно упрощается, если 1768 г. рассматривать не как срок исполнения пророчества, а как дату его составления. Это, кстати сказать, не только отвечает графическому оформлению автографа, но и согласуется с его смыслом. В самом деле, в Киле имелись не только противники, но и сторонники сохранения унии маленького немецкого герцогства с могучей Российской империей и потому не безразличные к итогам переговоров с Данией. И коль скоро Павел под давлением матери-регентши отказывается от своих прав, на смену ему должен явиться тот, кому эти права ранее принадлежали, т. е. Петр III. Иначе говоря, кильское пророчество возникло в 1768 г. и представляло собой ответ сторонника русской ориентации на копенгагенский договор.

К какой же социальной среде скорее всего принадлежал автор этого ответа? Поскольку пророчество было писано латынью, оно как будто бы возникло в образованных кругах. Но именно здесь были хорошо осведомлены о судьбе их герцога, что делает подобное предположение беспочвенным. В то же время он едва ли мог возникнуть и в непривилегированных слоях, хотя форма пророчества, в которой он написан, была тогда очень популярна в грамотной европейской народной среде. В целом он имеет какой-то промежуточный характер. Таково, скорее всего, и его происхождение — городская торгово-ремесленная среда, заинтересованная в сохранении экономических и других связей с Россией. На это указывает и именование избавителя не как герцога Карла Петра Ульриха, но как Петра III, т. е. российского императора. И если верить тексту документа, в котором говорилось, что возвращение Петра III будет неожиданным «лишь для немногих», пророчество это имело какой-то круг сторонников. Их настроения и выразил автор документа.

Если ход наших рассуждений справедлив, то двестишье приобретает антикатерининскую направленность, что, как мы знаем, типично для народной легенды о Петре III. А это в свою очередь вводит кильское пророчество в общее русло развития легенды, а главное — в контекст слухов о «чудесном спасении», которые привели к появлению первых четырех самозванцев в России (1764 и 1765 гг.) и Степана Малого в Черногории (в 1766 г.). Если вести о Н. Колченке, А. Асланбекове, Г. Кремневе и П. Чернышеве едва ли доходили до Киля, то слухи, что Петр III жив, за рубежом были известны (вспомним хотя бы хроникальную запись под 1762 г. чеха И. В. Пароубека). Была осведомлена европейская общественность и о Степане Малом. Характерно, что итальянский сонет о «беспокойной тени» Петра III, пришедшей в Черногорию, чтобы «найти здесь благочестивое успокоение», возник около 1767 г.

У нас нет достаточных оснований утверждать наличие прямого влияния толков о Степане Малом на кильское пророчество. Но по крайней мере два совпадения бросаются в глаза: во-первых, сакрализация героя легенды (в гольштейнском двестишии Петр III назван «божественным», о себе как «посланце бога» неоднократно говорил Степан Малый); во-вторых, вера в реальность героя легенды. В одном случае он ожидается (кильское двестишье), в другом — уже объявился (Степан Малый).

Если не прямое воздействие, которое, впрочем, полностью исключать нет оснований, то во всяком случае общность духовной атмосферы здесь налицо. Это и обусловило появление кильского пророчества, которое родилось на пересечении реальных политических факторов (подписание копенгагенского договора) и фольклорного осмысления темы «чудесного спасения» и ожидаемого возвращения героя, бытовавшей в славянской народной среде. Двестишье явилось аккумулятором подобных представлений, распространявшихся в этой среде, но переработанных с учетом местных гольштейнских интересов. Разумеется, нильское пророчество не означало реального появления в Киле самозванного «третьего императора» (случай для германской истории вообще редчайший). Но в контексте общего генезиса легенды оно, несомненно, вплотную подводило к этому. В силу сказанного кильский автограф с полным основанием должен занять место в истории немецко-русско-славянских народных контактов.

## **ХРАНИТЕЛЬНИЦА НАРОДНОГО ДУХА (вместо заключения)**

Стоит у Хлумца на высоком каменном постаменте застывшая фигура крестьянина с косой в правой руке. Памятник, созданный чешским скульптором Якубом Обровским в 1940 г., напоминает людям, что в этих местах в марте 1775 г. произошло кровавое столкновение восставших чешских крестьян с правительственными войсками. А ведь где-то здесь, неподалеку, ходил со своим отрядом и легендарный «русский принц». И скромный хлумецкий мемориал вырастает до обобщенного символа межславянского

содружества: легенда о герое-избавителе, почти одновременно, хотя и по-разному, заявившая о себе в России, Черногории и Чехии, отразила общность дум о свободе и вошла составной частью в мир народной культуры этих стран.

Понятие «народная культура» отличается сложностью и многозначностью. Оно и в науке трактуется различно. Вызвано это не только различиями в методологическом подходе и не только спецификой задач, стоящих перед этнографами, историками культуры, искусствоведами и представителями других областей знания, но в значительной мере и тем, что народная культура как таковая на протяжении тысячелетий своего развития претерпевала существенные изменения.

У нас нет в данном случае возможности останавливаться на этом вопросе подробнее. Но, принимая во внимание соображения, которые в разное время высказывались советскими и некоторыми зарубежными учеными, прежде всего этнографами и фольклористами, будем народную культуру в классово-антагонистическом обществе (а в нашем случае речь идет об эпохе позднего феодализма) рассматривать как специфический феномен, отражающий и объективирующий быт, духовные запросы и чаяния непривилегированных классов и социальных групп.

Содержание и формы народной культуры весьма многообразны и не всегда достаточно четко могут быть выявлены. Одна из ее характерных черт как раз и заключается в слитности, синкретизме различных ее элементов. Все же можно согласиться с мнением, согласно которому ядром народной культуры выступает народное сознание — мировоззрение, миропонимание. На базе этого складываются и развиваются народные представления о политических и общественных отношениях, о нравственных нормах, правилах и нормах поведения, об идеалах будущего, вырабатывается свое видение мира, методы и способы воспитания молодого поколения и передача опыта, накапливаются эмпирические знания о природе и человеке (включая приемы врачевания), развивается и обогащается фольклор [63, с. 56—57]. На принципиальную значимость изучения народного мировоззрения «под социально-политическим углом зрения» обращал внимание В. И. Ленин. По воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, В. И. Ленин в беседе с ним (в марте 1918 г.) подчеркивал: «Ведь на этом материале можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных» [35].

В работах ряда советских этнографов (Ю. В. Бромлей, М. Г. Рабинович, К. В. Чистов и др.) справедливо отмечалось, что народная культура создавалась и приумножалась и сельским, и городским населением. Это означает, что народную культуру нельзя, как это порой делается, сводить только к культуре крестьянской, хотя последняя играет в ней и весьма значительную роль. Вместе с тем народная (городская и крестьянская) культура была внутренне неоднородна, отражая социальную дифференциацию народной среды, приобретающую в эпоху постепенного перехода от феодализма к капитализму все более усиливающийся характер. Поэтому в народной культуре выражались не только прогрессивные, свободолюбивые устремления масс, но и предрассудки, и суеверия, порожденные низким уровнем образованности, сплошной или частичной неграмотностью, общей тяжелой жизнью народа в ту эпоху, а так же целенаправленным идейным воздействием на народные массы со стороны правящих кругов. В силу этого само понятие «народная культура» не может носить оценочного смысла. Народная культура требует не идеализации, а кропотливого и критического изучения для выявления ее позитивного наследия и установления ее социальной обусловленности. Приведенные соображения имеют непосредственное отношение и к эволюции в славянской среде легенды о Петре III.

Расширение межславянских контактов в XVIII в., пребывание в России компактных групп некоторых зарубежных славян (например, черногорцев, сербов, поляков, болгар), посещение славянских земель русскими людьми, разного рода путешествия, деловые поездки — все это способствовало не только лучшему узнаванию друг друга, но и реальному обмену культурным опытом. Так, расселение южнославянских поселенцев в южных зонах России, климат которых более или менее напоминал места,

откуда они прибыли, способствовал проникновению и ряда материальных форм культуры этих народов в русскую и украинскую среду. Проявлялось это отчасти в постройках? но еще больше в хозяйственной деятельности. По словам А. П. Бажовой, например, «известны многочисленные факты участия югославян в разведении фруктовых садов на юге России» [28, с. 178]. Обмены такого рода оказывались взаимно полезными. По наблюдениям словацкого историка И. Грозиенчика, бродячие торговцы из центральной части Словакии занесли на родину некоторые русские и украинские обычаи. Советские ученые отмечают следы такого влияния и в словацком жилище.

В подобных контактах собственно славянские мотивы далеко не всегда играли осознанную роль. Но и полностью отрицать их существование, пусть в слабо выраженной, зачаточной форме, не следует. Достаточно напомнить хотя бы о языковой близости славянских народов, безусловно способствующей контактам. Порой, как видно из «Желеховицкой хроники» за 1748 г. о встрече населения Чешских земель с русскими солдатами («Они были такими же людьми, как и мы»), это порождало своего рода эффект удивления, открытия [153, с. 214]. Ранее неосведомленные и попросту не задумывавшиеся над таким вопросом простые люди — чешские горожане и крестьяне удивлялись («мы могли с ними немножко разговаривать. . .»), а удивляясь, открывали для себя стихийно, на практике славянскую языковую общность («. . . а немцы совершенно не могли»).

Не следует упускать из вида, что в русской книжно-письменной традиции, сохранявшейся в грамотной народной среде и в XVIII в., мысль о родстве русского и остальных славянских народов повторялась издавна и неоднократно. Об этом, в частности, говорилось в киевском «Синописе», содержавшем обзор истории России (1674 г.) и в «Грамматике славенской» М. Смотрицкого (1648 г.) — книгах, которые до середины XVIII в. и позднее являлись школьными учебниками и по многу раз переиздавались, а то и переписывались. В кругу народного чтения в XVIII в. удержались многие памятники литературы прошлых столетий — частью они продолжали жить в рукописных сборниках, частью перепечатывались. В эти же десятилетия в России продолжалось распространение зарубежной, в частности польской народной книги, возникла оригинальная лубочная литература. Подобные произведения пользовались популярностью у грамотной части народа, их читали вслух, пересказывали. И едва ли приходится удивляться тому, что некоторые темы и сюжеты, почерпнутые отсюда, использовались в рассказах о зарубежных странствиях «Петра III». Во многом сходную роль в зарубежных славянских землях тех десятилетий играли некоторые жанры народной литературы и устного творчества. В чешской народной среде это были, например, так называемые ярмарочные («крамаржские») песни, полународная литература, своеобразная лубочная литература, рукописные сборники «письмаков» — представителей грамотного крестьянства и городских низов, народные пророчества (о короле Марокане и др.). Особый пласт местного фольклора, отразившего идеи чешско-русских связей, составляют легенды о Петре I — они отразили воспоминания о трехкратном пребывании русского императора в Чехии. Отзвуки подобных легенд, бытующих до настоящего времени (например, в Карловых Варах), заслуживали бы специального изучения. Легенды о Петре I были известны и в черногорской (и вообще южнославянской) народной среде.

На фоне сказанного миграция легенды о Петре III представляет собой яркий пример межславянских фольклорных связей, отмеченных не только четким социальным звучанием, но и пониманием в ряде случаев роли русско-славянских связей. Достаточно недвусмысленно проявилось это в черногорском самозванчестве Степана Малого и в тональности чешской легенды о «русском принце».

Вопрос о взаимодействии двух социальных срезов культуры по-прежнему представляет несомненный теоретический и конкретно-исторический интерес, заслуживает отдельного рассмотрения, выходящего за рамки нашей книги. В качестве примера форм подобного взаимодействия можно назвать феномен крепостной интеллигенции в России XVIII—начала XIX в. Прямой его аналог в зарубежном



славянском мире того времени отсутствовал. Однако отдельные случаи, близкие типологически, все же встречались. Так, крупнейший деятель эпохи чешского национального Возрождения И. Юнгман до окончания Пражского университета в конце XVIII в. сохранял статус крепостного. Отмеченное взаимодействие сфер профессиональной и народной культуры прослеживается и на материалах легенды о Петре III. Причем в высшей мере своеобразно и поучительно.

Подчеркивание династической сопряженности с Петром I (хотя бы и фиктивной, как у Екатерины II) со времени Елизаветы Петровны сделалось официозным штампом. Но это был не просто штамп: за ним просматривается и нечто большее — стремление использовать установившуюся в широких слоях русского общества популярность имени царя-реформатора. Этому, в частности, способствовали многие представители русской общественной мысли и литературы первой трети XVIII в. — от Феофана Прокоповича до Кантемира. Применительно к цесаревичу Петру Федоровичу, объявленному в 1742 г. наследником, и популярность имени Петра I, и упомянутый официозный штамп имели особое, символическое, значение. В самом деле, он был единственным, кроме Елизаветы Петровны, ближайшим потомком «первого императора», к тому же по мужской линии. Да еще и его тезкой. Эта символика начала функционировать сразу же по прибытии Петра Федоровича из Киля в Петербург. Одним из наиболее ранних и мало известных тому примеров — письмо юного наследника замечательному русскому поэту А. Д. Кантемиру, занимавшему тогда пост посланника России во Франции. Вот текст письма, подлинник которого написан по-французски: «Сударь, я наилучшим образом отблагодарю, когда это будет возможно, ту преданность и уважение ко мне, которую Вы так живо выразили в письме по поводу моего будущего престолонаследия. Так как я всегда буду следовать пути Петра Великого и ее императорского величества, моей всемиловитейшей тетки, то предполагаю по их примеру оказывать особое покровительство, которое эти августейшие особы всегда проявляли в отношении Вашей семьи. С заверением дружбы и уважения остаюсь, сударь. Ваш благожелательный друг Петер». Внизу указан адресат: «Князю Кантемиру в Париже» [13, № 78].

Хотя письмо не датировано, оно, как легко убедиться, являлось ответом на поздравительное послание А. Д. Кантемира по случаю объявления Петра наследником престола. Это, как известно, произошло в ноябре 1742 г. Следовательно, текст датируется концом этого или самым началом следующего года. Хотя в таких обстоятельствах поздравление Кантемира носило официально-протокольный характер, обращает на себя теплый тон ответа наследника. Поскольку в недавнее время, при Анне Ивановне, за свои смелые обличения знати и антиклерикальные воззрения Кантемир находился в опале, обещание Петра Федоровича оказать ему покровительство и подчеркивание приверженности традициям деда приобретали программное звучание. Но это отвечало настроениям русской просветительской мысли тех лет. Для нее обращение к примеру Петра Великого было не только способом воспитания в народе чувства национального самосознания, но и поводом для изложения позитивных общественно-политических взглядов, полем социальной критики, хотя бы для вида и облеченной в верноподданническую фразеологию. Такой подход открывал перед писателями и учеными уникальную возможность вполне легально выступать выразителями общественного мнения, наставниками, державшими, по словам Г. Р. Державина «истину царям с улыбкой говорить». Одним из первых на такой путь встал, как известно, М. В. Ломоносов, назвавший Петра I «земным божеством» и проводивший взгляд на Петра Федоровича как на прямого продолжателя своего великого деда.

Эта мысль лежала уже в основе «Оды на прибытие из Голстинии и на день рождения. . . Петра Федоровича» [70, т. 8, с. 62]. Обращаясь к Елизавете Петровне, М. В. Ломоносов восклицал:

Ты зришь Великаго Петра,  
Как феникса, воскресша ныне;

Дражайшая Твоя Сестра  
Жива в своем любезном сыне.

Настойчиво пользуясь каждым удобным поводом, М. В. Ломоносов повторял мысль о высоком предназначении потомка Петра I. В посвящении «Краткого руководства к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1744) он призывал наследника способствовать развитию наук в России. В 1749 г. М. В. Ломоносов написал по просьбе В. Н. Татищева текст посвящения первого тома его «Истории Российской» Петру Федоровичу. В нем, например, были такие строки: «Вашего императорского высочества превосходные достоинства подают бессомненную надежду, что во время, определенное от бога, ревностного подражателя бессмертным к себе заслугам венчаных в вашем высочестве увидит Россия». И снова повторялась надежда, что наследник во всем будет подражать Петру Великому. Эта же мысль проведена и в «Слове похвальном», которое произнес великий ученый в память Петра I 26 апреля 1755 г. и в стихах того времени. В 1758 г. М. В. Ломоносов задумал создать мозаичный портрет Петра Федоровича [70, т. 9, с. 139]. Целая программа государственной деятельности была изложена им в оде, написанной в связи с вступлением Петра III на престол «Орел великий обновился. . .».

Конечно, многое в таких дифирамбах носило внешний, заказной характер. Едва ли, например, слова «орел великий» хоть в какой-то мере были приложимы к Петру III. И все же, по-видимому, в основе своей подобные оценки, несмотря на их гипертрофированность, были искренними. На такое предположение наводит судьба речи «Об усовершенствовании зрительных труб», которую М. В. Ломоносов должен был произнести в присутствии императора на торжественном праздновании дня Петра и Павла 29 июня 1762 г. «За происшедшею переменою правления» торжественного акта не состоялось, речь произнесена не была. И хотя он сочинил в честь прихода к власти Екатерины II вымученную казенную оду, отношения великого ученого и новой императрицы были натянутыми и неприязненными. Над М. В. Ломоносовым нависла тень возможного ареста, от которого, быть может, его избавила кончина, наступившая 4 апреля 1765 г. «На другой день после его смерти, — сообщал библиотекарь Академии наук И. Тауберт историку Г. Ф. Миллеру, — граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки» [122, с. 329].

Примечательно и другое. Многие мысли, сформулированные М. В. Ломоносовым в одах и других сочинениях, посвященных Петру III, в большей или меньшей степени были созвучны настроениям последнего. Комментаторы оды на его восшествие полагают, что ученый—поэт «поймал императора на слове», когда тот в первом же манифесте обещал следовать «стопам» Петра I [70, т. 8, с. 1159— 1160]. Дело, по-видимому, обстояло сложнее. Во всяком случае, кое-что (например, развитие Сибири, контакты с Китаем, Японией, Индией), о чем писал М. В. Ломоносов, отвечало мыслям Петра III и отчасти даже успело отразиться в законодательной и практической деятельности периода его правления (например, в указе о коммерции). В творчестве М. В. Ломоносова ему могли импонировать и антиклерикальные ноты, хотя Петр III, наверное, истолковывал их по-своему.

Сразу же после переворота, а скорее всего и перед ним, враждебная императору дворянская группировка распространяла самые невероятные слухи о его намерениях. В делах Шлезвигского архива, например, сохранилось письмо, автор которого со ссылкой на «сообщение из Варшавы» в числе таких слухов называл замысел Петра III ввести в России лютеранство и переженить «40—50 светских дам на голштинцах и пруссаках». Эти слухи названы в письме «глупостями», которые «обсуждаются только для того, чтобы поднять народ» против императора [26, л. 66—67]. В этой связи заслуживает внимания упорно муссировавшаяся версия о желании Петра III обрить бороды православному духовенству. Слух дошел и до Вольтера, который, впрочем, отнесся к известию одобрительно. «Я

считаю это хорошим, сюжет заслуживает того», — писал он в одном из августовских писем 1762 г. [159, с. 144]. Однако источниками такое намерение Петра III не подтверждалось, а в современной событиям немецкой публицистике объяснялось недоразумением: якобы русский священник консульства в Гамбурге, дабы местное население не путало его с раввинами, просил Синод разрешения обриться [147, с. 69—70]. Такое происшествие и в самом деле имело место, хотя случилось несколькими годами ранее и выглядело иначе.

В 1756 г. Синод наказал иеромонаха православной придворной церкви в Киле за то, что тот самовольно сбрил себе усы и бороду. В том же году появился знаменитый антиклерикальный «Гимн бороде» М. В. Ломоносова, вызвавший скандал в кругах высшего духовенства. Одним из позднейших отзвуков «Гимна» и явились, по-видимому, слухи о намерениях Петра III обрить бороды духовенству. Переключка сама по себе достаточно любопытная.

Последовательную идеализацию личности и предполагаемых действий Петра Федоровича Д. С. Бабкин назвал «поэтической утопией» Ломоносова [71, с. 155]. Это и в самом деле была утопия, но отнюдь не только поэтическая. Сознательная идеализация наследника, а затем императора и подгонка его под образ Петра I имела гораздо более широкий смысл общественно-политический и психологический. Для идеологов русского Просвещения (как и для Вольтера) Петр I рисовался моделью мудрого правителя, эталоном, по которому поверялись его преемники. Отзвуки подобной идеализации доходили до народных масс, оказав определенное воздействие на формирование легенды о Петре III, в частности в ее пугачевской версии. Вот, например, что говорилось в «увещевании» 5 апреля 1774 г., направленном повстанческой войсковой канцелярией в Яицкий городок: «И так всепресветлейший государь Петр Федорович, умиленно лишаась своего престола, и доныне подражая деду своему Петру Великому, всякие способы излюбопытствовал» [48, с. 105].

Но в одни и те же формулы при этом вкладывалось разное содержание, а из одних и тех же фактов делались диаметрально противоположные выводы. Для М. В. Ломоносова и других просветителей его времени все это не выходило за рамки концепции «просвещенного абсолютизма». Иначе ставился и решался вопрос народной культурой. В. Г. Базанов напоминал слова Г. В. Плеханова, считавшего, что «царь, существующий в народном понятии» — не самодержец, сидящий на престоле, а реформатор, действующий в интересах крестьян. «В народных волшебных-героических сказках, изображающих некое царство с Иваном-царевичем во главе, действует именно такой царь, "царь, существующий в народном понятии", а не царь из фамилии Романовых, не самодержец, сидящий на престоле, обгагреном народной кровью» [29, с. 167]. И в пугачевских манифестах, по верному наблюдению Г. П. Макогоненко и К. В. Чистова, рисовался «чрезвычайно примечательный образ народного царя» [123, с. 160]. Добавим, что во многом сходная картина проступала в действиях других самозванцев в России и Степана Малого в Черногории, в чешской легенде о «русском принце», а опосредствованно и в кильском пророчестве. Такое понимание сказывалось и на социально-психологических аспектах самого механизма самозванчества.

Самозванец — всегда человек со стороны, тщательно скрывающий свою подлинную биографию. И это понятно, поскольку вера, что борьбу за интересы народа возглавляет человек не «простого», а «царского» («императорского», «королевского») происхождения — характерная черта крестьянской психологии феодальной эпохи. Но наряду с этим было необходимо и доверие.

Народное самозванчество, помимо прочего, и своеобразное действие, в чем-то сродни действию театральному. И Емельян Пугачев, и Степан Малый, и другие самозванные «Петры Третьи», за которыми шли массы, воспринимались именно в этой роли. То был конкретный, частный случай общей легенды о герое — народном избавителе. Но именно потому избавитель должен был быть народным! Здесь между

социально-утопическим народным самозванчеством и безродными искателями удачи — дворянскими авантюристами пролегал водораздел. Например, после смерти Степана Малого некий Сенович (С. Занович) попытался выдать себя в Черногории за Петра III. Но авторитет черногорского правителя (которого народ знал в лицо и воспринимал как русского царя) был столь высок, что из подобной попытки ничего не вышло, и Сенович бесславно убрался из Черногории. Подобные авантюристы ни к народному самозванчеству, ни к идеям межславянской солидарности отношения не имели. Они, если можно так выразиться, были лже-самозванцы. Наоборот, социально-утопические настроения народных масс вольно или невольно переносились ими на те исторические личности, в роли которых выступали те или иные народные самозванцы. Это отражало представления угнетенных крестьянских масс об этике правителя, о его взаимоотношениях с подданными, о круге и направленности его действий в борьбе с социальным злом.

Представления эти — плод эволюции крестьянской мысли. Они возникли не сразу, а складывались по мере расширения массовой базы и радикализации программных требований социально-утопического самозванчества. В России той эпохи это проявлялось наиболее полно у пугачевцев: после уничтожения крепостничества и истребления помещиков — «вредителей империи и разорителей крестьян», как говорилось в манифесте 28 июля 1774 г., «всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет» [48, с. 47]. Точно так же освобождение народных (крестьянских) масс от социального, а равно и от национального угнетения составляло центральную идею черногорского варианта (и практической деятельности Степана Малого) и чешской легенды о «русском принце». При всей неясности, расплывчатости представлений о желанном идеале, заложенные в них мечты о воле и земле отразили, по словам В. И. Ленина, стихийную тягу к «общежитию свободных и равноправных мелких крестьян» [8, с. 211].

Итак, вере просветителей в добрую волю «просвещенного» монарха народная культура пыталась противопоставить веру в «народного» царя. То и другое в конечном счете относилось к числу утопических, нереальных мечтаний. Только А. Н. Радищев сумел прорвать этот замкнутый круг. В «Письме к другу, жителюствующему в Тобольске» он заявлял, что Петр I был бы по-настоящему велик, если бы утвердил «вольность частную». Но как раз это, продолжал он, и невозможно, ибо «нет до скончания мира примера может быть не будет, чтобы Царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сядя на Престоле» [103, с. 151].

Прямо ссылаясь в своем знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» (главы «Едрово», «Хотилово») на пример Пугачева, А. Н. Радищев отрицал лозунг народного самозванчества, противопоставив ему идею народной республиканской революции. В главе «Тверь» он писал:

Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит;  
В крови мучителя венчанна,  
Омыть свой стыд уж всяк спешит.  
[103, с. 358].

Екатерина II по-своему была права, назвав А. Н. Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева». Он и в самом деле был «хуже», страшнее для царизма. Ибо, не сводя дело к оценке плохих или хороших качеств самодержца, как революционер он отрицал монархическую идею как таковую. Радищевский вывод имел в развитии отечественной общественно-политической мысли принципиальную значимость. И важно подчеркнуть, что за этим выводом, в числе прочих резонансов, стоял конкретный опыт; пугачевского движения. Здесь обратное воздействие народной культуры на просветительскую мысль прослеживалось со всей очевидностью. И это не единственный пример такого рода.

Поразительная все же вещь — социальный инстинкт, хранителем которого оказывалась народная культура. Сопоставляя позитивные и негативные стороны в деятельности Екатерины II, А. С. Пушкин писал, что «со временем история оценит влияние ее царствования на нравы: откроет жестокою деятельностью ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное филигарство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России» [102, т. 11, с. 15—16]. Сильные, темпераментные слова. И в основе своей справедливые.

Но отдадим справедливость и народному сознанию: намного раньше профессиональных исследователей оно вынесло как раз такой приговор. И не «со временем», как предвидел А. С. Пушкин, а сразу же: почти с первых месяцев вступления Екатерины II на окровавленный трон. Это в основе своей верное понимание, «в фантастической форме» преломившись «в головах действующих масс и их вождей» [4, с. 308], создало фактическую базу и психологическую атмосферу мифологизации Петра III. Но за этим стояла вековая мечта обездоленных о социальной справедливости, истинных путей к достижению которой крестьянство еще не знало да по условиям того времени знать и не могло. И позднее имя императрицы продолжало оставаться в народном сознании одним из устойчивых символов крепостнической политики царского самодержавия. Это обстоятельство специально подметил В. И. Ленин на примере выступления одного депутата-казака во II Государственной думе в марте 1907 г., который процитировал слова казацкой песни: «Гей, царица Катерина, що ты наробила? Степь широкий, край веселый панам раздарила. Гей, царица Катерина, змилуйся над нами, виддай землю, край веселый с темными гаями» [7, с. 390].

Вот почему не только и не столько фигура Петра III (как бы мы ни оценивали реального и самозванных носителей этого имени) составляла квинтэссенцию народной легенды: то были своего рода вехи-ступени на бесконечной лестнице народной надежды на лучшее. И с каждой такой ступенью, обогащенной опытом борьбы, народное самосознание, вера в лучшее завтра, сама борьба поднимались на более высокий уровень. Пусть не всегда заметно и осязаемо для современников, эта борьба и вера постепенно выковывали чувство социальной солидарности угнетенных масс русского, славянских и других народов. «Исторические факты — не одни происшествия, идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени — те же факты и очень важные, точно так же требующие критического изучения». — Этими исполненными глубокого смысла словами известного русского историка В. О. Ключевского мы начали книгу и ими, еще раз повторив, хотим ее закончить.

## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. *Энгельс Ф.* Что будет с Европейской Турцией? // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 9.
2. *Энгельс Ф.* Эмигрантская литература // Там же. Т. 18.
3. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг // Там же. Т. 20.
4. *Энгельс Ф.* Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Там же. Т. 21.
5. *Энгельс Ф.* Карлу Марксу в Лондон. Манчестер. 21 апреля 1863 года // Там же. Т. 30.
6. *Ленин В. И.* Проект программы нашей партии // Полн. собр. соч. Т. 4.
7. *Ленин В. И.* Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 гг. // Там же. Т. 16.
8. *Ленин В. И.* Лев Толстой, как зеркало русской революции // Там же. Т. 17.
9. *Ленин В. И.* Доклад о революции 1905 года // Там же. Т. 30.

10. *Ленин В. И.* Доклад на II Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 г. // Там же. Т. 37.
11. АВПР, ф. «Сношения России с Австрией».
12. АВПР, ф. «Сношения России с Черногорией».
13. ГПБ, ф. 588.
14. ГПБ, ф. 859.
15. ГПБ, ф. 871.
16. ЦГАДА, Госархив (ф. VI).
17. ЦГАДА, ф. 149, № 78.
18. ЦГАДА, ф. 1100, кн. 5.
19. ЦГАДА, ф. 1263, оп. 1, ч. 1, № 1144.
20. ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 173.
21. ЦГИА СССР, ф. 516, оп. 28/1613, № 33.
22. ЦГИА СССР, ф. 796.
23. ЦГАВМФ СССР, ф. 227, оп. 1, № 17.
24. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна (Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv). Abt. 8, 2. Кор., Abt. 854.
25. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна. 8<sup>1</sup>, N 5.
26. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна. 400.5, N 316.
27. *Андрущенко А. И.* О самозванстве Е. И. Пугачева и его отношениях с яицкими казаками // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России: Сб. статей. М., 1961. 366 с.
28. *Бажова А. П.* Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М., 1982. 288 с.
29. *Базанов В. Г.* От фольклора к народной книге. Л., 1973. 360 с.
30. *Вардоевская Л. В.* Коллекция картин Н. Ф. Гроота в Екатерининском дворце-музее // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник, 1977 г. М., 1977. 472 с.
31. *Бартенев П.* Дневник статского советника Мизере о службе при Петре Третьем//Русский архив. 1911. Кн. 2, вып. 5.
32. *Бартенев П.* Польский анекдот о Пугачеве // Русский архив. 1876. Кн. 2.
33. *Болотов А. Т.* Записки. Спб., 1871. Т. 2, Стлб. 1120.
34. Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 3. Стлб. 43—44.
35. *Бонч-Бруевич В. Д.* Избранные сочинения. М., 1963. Т. 3. С. 350.
36. *Боткин В. П.* Литературная критика. Публицистика Письма / Сост. Б. Ф. Егоров М., 1984. 320 с.
37. *Брикнер А. Г.* А. Ф. Бюшинг//Исторический вестник. 1886. Т. 25.
38. *Брюкнер А. Г.* Жизнь Петра III до вступления на престол// Русский вестник. 1882. № 11; 1883. № 1—2.
39. *Бугаево В. И.* Пугачев. М., 1984, 383 с.
40. *Воронцов С. Р.* Автобиография//Русский архив. 1876. Кн. 1.
41. *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957—1958. Т. 12—14.
42. *Дашкова Е. Р.* Замечания на сочинение Рюльера о воцарении Екатерины II //Русский архив. 1890. Кн. 3.
43. *Дашкова Е. Р.* Записки: Пер. с франц. / Под ред. и с предисл. Н. Д. Чечулина. Спб., 1907. 374 с.
44. *Дашкова Е. Р.* Записки. 1743—1810 гг. / Подгот. текста, статья и комментарии Г. Н. Моисеевой. Л., 1985. 288 с.
45. *Державин Г. Р.* Избранная проза. М., 1984. 400 с.
46. *Дмитриев П. А., Сафонов Г. И.* Из истории русско-югославянских литературных и научных связей. Л., 1975. 202 с.
47. *Дмитриев-Мамонов А. И.* Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. Спб., 1907. 259 с.

48. Документы Ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений 1773—1774 гг. М., 1975. 524 с.
49. Допрос Е. Пугачева в Москве в 1774—1775 гг. // Красный архив, 1935. Т. 69—70.
50. *Достян И. С.* Описание Черногории начала XIX в. в донесениях С. А. Сапковского // Славяно-балканские исследования. Историография и источниковедение. М., 1972. 390 С.
51. Екатерина II. Записки. СПб., 1906. 184 с.
52. Екатерина II. Переписка с г. Вольтером / Пер. М. Антоновского. СПб., 1802. Ч. 2. 220 с.
53. Затруднения при поминовении Петра III. Из бумаг М. Д. Хмырова // Исторический вестник. 1881. Т. 4.
54. Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе штаб-обер-офицерам и кадетам с показаниями, кто из оных с какими достоинствами, в какие чины выпущены и в каких чинах ныне. СПб., 1761. Ч. 1. 302 с.
55. Имп. гвардия: Справочная книжка. 2-е изд. / Под ред. В. К. Шенка. СПб. 1910. 216 с.
56. История дипломатии. М., 1959. Т. 1. 896 С.
57. История Югославии: В 2 т. М., 1963. Т. 1. 736 С.
58. *Карнович Е. П.* Герцогиня Кингстон и дело об имении ее в России. 1777—1798 // Русская старина, 1877. Т. 18.
59. *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977. 335 с.
60. *Ключевский В. О.* Отзывы и ответы. Пг., 1918. Т. 3. 471 с
61. *Ключевский В. С.* Соч. М., 1958. Т. 4. 424 с.
62. *Ковалевский Е. П.* Собр. соч. СПб., 1872. Т. 4. 379 с,
63. *Коган Л. Н.* Народная культура в историческом развитии системы культуры // Изучение истории культуры как системы. Новосибирск, 1983. 80 с.
64. *Козловский И. П.* Один из эпизодов революционного движения на Дону в XVIII веке (1772 г.) // Изв. Сев.-Кавказ. гос. ун-та, 1926. Т. 10.
65. *Корнилович О. Е.* Записки ими. Екатерины II. Внешний анализ текста. Томск, 1912. 30 с.
66. *Корнилович О. Е.* Общественное мнение Западной Европы о пугачевском бунте // Анналы. Журнал всеобщей истории. 1923. № 3.
67. Крестьянская война в России в 1773—1775 годах. Восстание Пугачева / Отв. ред. В. В. Мавродин. Л., 1960—1970. Т. 1—3.
68. *Куликовский П. А.* Начало русской школы у сербов в XVIII веке. СПб., 1903. 176 с.
69. *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. 296 с.
70. *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1955—1959. Т. 4, 7-10.
71. *Ломоносов М. В.* Сб. статей и материалов. Л., 1983. Т. 8. 172 с.
72. *Лотман Ю. М. А. С.* Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958. 191 с.
73. *Лотман Ю. М.* Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина) // Проблемы историзма в русской литературе конца XVIII—начала XIX в. XVIII век: Л., 1981. Сб. 13.
74. *Лучинский Е.* Княжна Тараканова: Исследования по актам Государственного архива. М., 1908. 308 с.
75. *Лярская Е. П.* Библиотека Петра III в Картинном доме (Ораниенбаум) // Русские библиотеки и их читатель (Из истории русской культуры эпохи феодализма). Л., 1983. 252 с.

76. *Майков Л.* Рассказ гр. Н. И. Панина о восшествии императрицы Екатерины II на престол // Русский архив. 1879. Кн. 1, вып. 3.
77. *Макушев В. В.* Самозванец Степан Малый: По актам венецианского архива // Русский вестник. 1869. Т. 82—83.
78. Манифесты по поводу восшествия на престол ими. Екатерины II // Семнадцатый век. М., 1869. Кн. 4.
79. *Мельницкий Н.* Сборник сведений о военных учебных заведениях в России (сухопутного ведомства). Спб., 1857. 1857 с.
80. *Миненко Н. А.* Ссылные крестьяне — «поляки» на Алтае в XVIII—первой половине XIX в. // Политические ссылки в Сибири. XVIII—начало XX в. Новосибирск, 1983. 238 с.
81. Мнимый сын Голштинского принца // Памятники новой русской истории: Сб. историч. статей и материалов. Спб., 1873. Т. 3.
82. *Мордовцев Д.* Самозванцы и понизовая вольница. 2-е изд. Спб., 1886. Т. 1. 328 с.
83. *Мыльников А. С.* Народная культура и генезис национального самосознания // Советская этнография. 1981. № 6.
84. *Мыльников А. С.* Русские переводчики в Праге 1716—1721 гг. // Проблемы литературного развития России первой трети XVIII в. Л., 1974. Сб. 9.
85. *Мыльников А. С.* Эпоха Просвещения в Чешских землях. Идеология, национальное самосознание, культура. М., 1977. 200 с.
86. *Недосекин В. И.* Лжепетр III — царь Черногории // Из истории балканских стран. Краснодар, 1975. С. 164—172.
87. Негош Петр II Петрович. Ложный царь Степан Малый. — (на сербохорв. яз.). Титоград, 1965. 449 с.
88. *Овчинников Р. В.* «Немецкий» указ Е. И. Пугачева // Вопросы истории. 1969. № 12.
89. *Овчинников Р. Б.* Следствие и суд над Е. И. Пугачевым // Вопросы истории 1966. № 3—5, 7, 9.
90. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. 4-е изд. М.; Л., 1951. Т. 3.
91. Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в.—1849 г. М., 1980. 610 с.
92. *Пекарский П. П.* История имп. Академии наук в Петербурге. Спб., 1870. Т. 1. 845 с.
93. Первые месяцы царствования Екатерины Великой. Из донесений прусского посланника Гольца Фридриху II. // Русский Архив. 1901. № И.
94. Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и современников. М., 1908. 159 с.
95. Письма императора Петра Федоровича к прусскому королю Фридриху II // Русский архив. 1898. Кн. 1.
96. Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. Документы / Отв. ред. А. Л. Нарочницкий, Н. Петрович. М., 1984. 431 с.
97. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Первая серия. Спб., 1830. Т. 15—16.
98. *Понятовский С. А.* Из записок: Пер. с франц. / Извлеч. и пересказ В. Т. // Русская старина. 1915. № 12.
99. *Пристер Е.* Краткая история Австрии / Ред. и предисл. М. А. Полтавского. М., 1952. 510 с.
100. *Пронштейн А. П., Мининков Н. А.* Крестьянские войны в России XVII—XVIII веков и донское казачество. Ростов н/Д, 1983. 420 с.



101. Пугачевщина. Т. 2: Из следственных материалов и официальной переписки. М.; Л., 1929. 503 с.
102. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1937—1959.
103. *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. 526 с.
104. *Рубинштейн Н. Л.* Уложенная комиссия 1754—1766 гг. и ее проект нового Уложения «О состоянии подданных вообще» // Исторические записки. 1951. Т. 38.
105. *Рунич П. С.* Записки о Пугачевском бунте // Русская старина. 1870. Т. 2.
106. Сборник Русского исторического общества. Спб., 1867—1911.
107. *Семевский М. Н.* Шесть месяцев из русской истории XVIII века, Очерк царствования императора Петра III // Отечественные записки. 1867. № 7—9.
108. *Сивков К. В.* Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. 1950. Т. 31.
109. *Скальковский А.* Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае, Одесса, 1848. 156 с.
110. *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М. «1965. Кн. 13 (т. 25—26). 647 с.
111. *Спирков В. А.* Участие пленных польских конфедератов в Крестьянской войне в России 1773—1775 // Вестник Ленингр. ун-та. Серия истории, языка и литературы. 1963. № 14, вып. 3.
112. *Станоевич Г.* Степан Малый (на сербохорв. яз.). Белград, 1957. 107 с.
113. *Стефановский В.* Находка и гипотеза // Ленингр. рабочий. 1985. 20 сент. С. 10.
114. *Тимирязев В. А.* Шестимесячное царствование Петра III. Исторический биографический очерк // Исторический вестник. 1903. № 3—4.
115. *Троицкий С. М.* Самозванцы в России XVII—XVIII вв. // Вопросы истории. 1969. № 3.
116. *Успенский В. А.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 201—235.
117. *Фавье Ж. Л.* Русский двор в 1761 году: Пер. с франц. рукописи Лафермиера // Русская старина. 1878. № 10.
118. *Фарсов Н. П.* Петр III и Екатерина II. Первые годы ее царствования. Пг.; М., 1915. 110 с.
119. *Фрейденберг М. М.* Степан Малый из Черногории // Вопросы истории. 1975. № 10.
120. *Хаханов А.* Записка современника, грузинского архиерея, о вступлении на престол имп. Екатерины II // Чтение в обществе истории и древностей российских. 1900. Кн. 4, отд. 4.
121. *Хоецкий К.* Записки // Киевская старина. 1883. № 11.
122. *Чернов С.* Литературное наследство М. В. Ломоносова // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9/10.
123. *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. 342 с.
124. *Шамрай Д. Д.* Цензурный надзор над типографией Сухопутного шляхетского корпуса // XVIII век. М.; Л., 1940. Сб. 2.
125. *Шаховской Я. П.* Записки. Спб., 1872. 357 с.
126. *Штелин Я. Я.* Записки о Петре Третьем, императоре Всероссийском // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1866. Кн. 4, отд. 5.
127. *Щебальский П. К.* Политическая система Петра III. М., 1870. 260 с.
128. *дйдельман Н. Я.* Мемуары Екатерины II — одна из раскрытых тайн самодержавия // Вопросы истории. 1968. № 1.
129. *Яковкин И.* История Села Царского в трех частях. Спб., 1829. Ч. 2. 247 с.

130. *Яцимирский А. И.* Лже-Петр III у черногорцев // Исторический вестник. 1907. № 8.
131. *AustScky J.* Sedlaci u Chlumce//Lumir, 1859, N 2.
132. *Bruckner A.* Katharina die Zweite. Berlin, 1883. 640 s.
133. *Biisching A. F.* Große Erdbeschreibung. Troppau, 1786. Bd. 3.
134. Dejiny ceske literatury. Praha, 1959. T. 1. 532 s.
135. *Hraziencik J.* Turcianski olejkarí a Safraníci. Bratislava, 1981. 171 s. (Рец.: Грацианская Н. Н., Смирнов Л. Н. // Сов. славяноведение. 1984. № 2. С. 114).
136. *Janecsek O.* Povstani nevolnikti v eeskych zemich roku 1775, Praha, 1954, 213 s.
137. *Khun K.* Dejiny a kulturni obraz mosta Chhimce nad Cidlinou. Chlumec, 1932. T. 2. S. 54-67.
138. *Koci J.* Ceske narodni obrozeni. Praha, 1978. 462 s.
139. *Mencik F.* Ceska prorocvi. Praha, 1914. 65 s.
140. *Myl'nikov A. S.* O slovanske sebevedomeni v feske spoleenosti v prvni polovine XVIII století// Slovansky pfehled. 1971. N 1.
141. *Paroubek J. V.* Pameti / Vyd V. B. Tfebizsky//Sbornik historicky. Praha, 1885. Рос. 3.
142. *Petran J.* Nevolnicke povstani 1775. Prolegomena edice pramenu. Praha, 1972. 280 s.
143. Prameny k nevolnickemu povstani v Cechach a na Morave v roce 1775. Praha, 1975. 896 s.
144. *Pries R.* Das Geheime Regierungs-Conseil in Holstein-Gottorf 1716—1773. Neumiinster, 1955. 208 s.
145. *Rezek A.* Dejiny prstonarodnihohnutinabozenskeho v Cechach. .. Praha, 1887. T. 1. 156 s.
146. *Robek A.* Lidove zdroje Naroduiho obrozeni. Praha, 1974.
147. Russische Anekdoten von der Regierung und Tod Peters des Drittcn. Spb., 1764. 304 s.
148. Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. 11. Demetrius. Weimar, 1971. 508 s.
149. Theater-Journal fur Deutschland. Gotha. 1779. N 1.
150. *Vavak F. J.* Pameti z let 1770—1816 / Vyd. J. Skopec. Praha, 1907. T. 1. 230 s.
151. *Vavra J.* Cesti osvícenci a obrozenci o agrarni otazce v Rusku // Slovanske historické studie. Praha, 1972. T. 9.
152. *Vavra J.* K otazce samozvanectvi v Cechach roku 1775 // Slovansky pfehled. 1964. N 3.
153. *Vavra J.* K pobytu ruskych vojsk v Cechach a na Morave v prvni polovine 18 st. // Casopis spolecnosti pfatel starozitnosti. 1962. N 4.
154. *Vavra J.* Pokus moravskych nekatolikft o získani ruske protekce v usili o nabozenskou toleranci roku 1779 // Slovanske historické studie. Praha, 1974. T. 10.
155. *Vavra J.* Polaci a Pugafiov // Slovansky pfehled. 1969. N 6.
156. *Vavra J.* Prazsky zurnalista, dramatik a herec v Moskvě pfed 150 lety // Slovansky pfehled. 1956. N 5.
157. *Vavra J.* Protifeudalni povstani 70 let 18 st. v Ceskych zemich a v Rusku ve svetle diplomatickych relaci a soudobeho tisku // Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. 1962. N 3.
158. Verse bolestf, posmechu i vzdoru / Vyd. Z. Ticha. Praha, 1958. 152 s.
159. *Voltaire F.* Correspondence and related documents. Definitive edition by T. Bestermann. Oxfordshire, 1973. T. 25. 485 p.

(Русско-славянские связи XVIII в. в мире народной культуры)

Утверждено к печати  
Редколлегией серии научно-популярных изданий  
АН СССР

Редактор издательства А. Ф. Варустина  
Художник Л. А. Яценко  
Технический редактор И. М. Кашеварова  
Корректоры Э. Г. Рабинович и А. Х. Салтацаева  
ИБ № 33103

Сдано в набор 16.09.86. Подписано к печати 24.12.86, М-28323. Формат 84X108 1/32. Бумага типографская М 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая, Усл. печ. л. 9.24. Усл. кр.-от. 9.51. Уч.-изд. л. 9.73. Тираж 100000. Тип. зак. № 803. Цена 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука». Ленинградское отделение. 199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1, Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука», 198034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.